



ЛЮБИМЧИК ЭПОХИ

ПРИСМОТРИ ЗА БРАТОМ

КАТЯ КАЧУР

Катя Качур

Любимчик Эпохи

Серия «Игры судьбы. Романы К. Качур»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68539493

*Любимчик Эпохи:
ISBN 978-5-04-178187-3*

Аннотация

Родиона любили за ум, красоту и способности. Его брата Илюшу – просто так.

От Родиона ждали поступков и ответственности. Илью хотели спасти, накормить, приласкать – пусть даже через минуту он уйдет не обернувшись.

Когда братья были детьми, случилось ужасное. Илью выкрала и несколько дней удерживала в квартире полоумная соседка, бабка по кличке Эпоха.

Потом Илюшу вернут домой и жизнь пойдет своим чередом. А много лет спустя проявит себя непостижимая связь с безумной старухой из детства. И за тайну, которую не смогли похоронить ни время, ни огонь, придется расплатиться чьей-то жизнью.

Содержание

Часть 1	5
Глава 1. Крематорий	5
Глава 2. Братья	14
Глава 3. Курвиметр	30
Глава 4. Шалушик	37
Глава 5. Заика	45
Глава 6. Кладбище	53
Глава 7. Полтергейст	59
Глава 8. Избранный	75
Часть 2	80
Глава 9. Рыжуля	80
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Катя Качур

Любимчик Эпохи

© Качур Е., 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Часть 1

Глава 1. Крематорий

Очнулся я во время пафосной речи женщины в черном муаре. Она сидела за лаковым пианино, воздев подбородок к потолку и обнажив немолодую шею. В затылок ей, словно срываясь со скалы, вцепилась шляпка-таблетка с живой бордовой розой. Поставленный голос взлетал с низов до самых высоких нот за доли секунды. На вдохе она делала паузу и извлекала пальцами в крупных перстнях фрагмент «Аве Марии» из простуженного инструмента.

– Родион Гринвич был кристально честным и неподкупным человеком, настоящим знатоком своего дела, доктором от бога! Он был послан нам ангелами с неба...

Мне стало неудобно. Я вдруг увидел мэтра, принимающего экзамен в театральном вузе. Эта же дама, только отправленная обратной перемоткой на двадцать лет назад, стояла на сцене и читала Ахматову. От натужного трагизма в ее голосе становилось неловко, она будто отрывала слушателям заусенцы: вроде бы больно, но как-то по мелочи, быстрее бы замазать зеленкой и забыть.

– Кхе-кхе. Извините, вы нам не подходите.

Кто бы знал, что месть ее будет ужасной и она применит

свои артистические способности в одном из столичных крематориев. Здесь ее талант никто не оспаривал: более снисходительных и покладистых зрителей, готовых разрыдаться на каждом слове, вряд ли собирал самый раскрученный театр. Что ни день, то бенефис. Почившему недавно мэтру, кстати, пришлось-таки проехать через творческую церемонию неудавшейся актрисы в своем дорогом гробу на колесиках. Она узнала его и вновь прочла Ахматову. С еще большим надрывом. В буквальном смысле сгорая в печи от стыда, он понял, что Всевышний на него сердится, раз приготовил напоследок столь изощренное наказание.

Я, видимо, тоже накосячил. Церемониймейстер (так значилась ее должность в трудовой книжке) заывала на форте, озвучивая написанный собственной же рукой текст.

– Так давайте склоним головы над этим великим человеком, давайте пропоем ему песнь вечной признательности и скорби...

Я оглядел зал. Точка моего зрения была несколько иной, чем при жизни, но весьма удобной. Я видел сверху и изнутри одновременно. По всему было понятно, что хоронят шишку. Лакированный гроб красного дерева обрамляли литые бронзовые завитушки, по обе стороны стояли дорогие венки. Цветами, верни их к жизни, можно было покрыть кукурузное поле времен Хрущева. В гробу лежал я, густо обработанный гримером, с румяными щеками и алыми губами, коими никогда не обладал при жизни. Возле толпилась сотня

людей, мои взрослые дети, мои коллеги и кто-то, чьи имена я даже не вспомню – последний раз видел эти лица пару десятилетий назад. Рядом с гробом стоял Илюша, измученный, простуженный, с синими кругами под глазами, с трудом переживающий весь этот маскарад.

– Ваш брат очень грузный, уже начал портиться, поэтому был необходим густой грим, – объяснили ему в кассе крематория, когда он пытался осознать выставленную сумму.

«Лучше я засохну перед смертью, чем буду лежать таким Арлекино», – думал Илюша, глядя на меня усопшего.

– Уверяю тебя, абсолютно пофиг, никакого чувства неловкости или стыда, – ответил я, – так что не изводи себя очередной ерундой.

Он испуганно вздрогнул, пошатнулся, словно оступился на канате, оглянулся по сторонам. Моя жена, державшая его за руку, вопросительно подняла брови.

– Я с-схожу с ума, – простонал он. – Я слышу Р-родькин г-голос.

– Ты просто смертельно устал, – прошептала она и крепче сжала Илюшину кисть.

Свободной ладонью Илья нервно теребил в кармане два моих перстня. Я носил их с юности, массивные золотые печатки, которые ритуальные парни зачем-то срезали с пальцев и передали брату. Кольца тяготили Илюшу, он раздражался, понимая, что совесть никогда не позволит сдать их на лом, а хранить как память о моих ударах кулаком в его

носовой хрящ было не слишком приятно. Положить в гроб вместе со мной он тоже боялся, наслышанный баек о проворности работников крематория. Церемониймейстер закончила свой творческий утренник и передала слово священнику. Пока тот пел, она подошла к Илюше, взяла под локоток и отвела в сторону:

– Свечи не входят в общий прайс. Нужно дополнительно оплатить тридцать тысяч, – шепнула она ему на ушко.

– Вы оп-полоумели? – взвился Илюша. – За свечи т-тридцатку?

– Ну да, сто человек, триста рублей свеча, – отчеканила она, покачивая розой на шляпке.

– Да охренели, – сказал я, – они их оптом по пятьдесят копеек берут. Торгуйся, максимум пять косарей.

Илюшу вновь бросило в пот. Глаз его задергался, он оглянулся, сделал нервное движение верхней губой и попытался сглотнуть слюну. Рот высох. Я понял, что он не готов к такому общению со мной, и решил больше не пугать брата.

– Пять т-тысяч – край, – прохрипел он цепкой даме пересохшими связками.

– Ну хорошо, только для вас, – она придвинулась к нему бедром и оттопырила большой атласный карман на гипюровой накидке.

Он порылся в бумажнике и опустил туда пятерку. Артистка прижалась еще теснее и красным влажным ртом коснулась его уха:

– Мы могли бы пообщаться и в менее печальной обстановке...

Илюша закатил глаза. Это была тяжелая участь. Женщины желали его тела даже на похоронах.

Наконец под токкату Баха мой гроб закрыли и начали опускать в адову бездну. Скорбящие выдохнули и встали в очередь на выход.

Актриса вновь притерлась к Илюшиному боку и прошептала:

– Урну забирать через неделю.

– К-как через н-неделю? – ужаснулся Илюша. – Г-говорили же, хоть з-завтра! Я оп-платил услуги класса п-премиум!

– Так очередь как раз из тех, кто выбрал премиум-класс. Остальные ждут еще дольше, – невозмутимо ответила она. – Придется полежать четыре-пять дней в холодильнике. Или двадцать пять тысяч.

Тут уже я взорвался и, забыв о своем обещании, заорал:

– Илюха, стоп! Меня вообще не парит полежать в холодильнике! Прекрати сорить деньгами!

– Да Р-родька, отвали! Ты м-можешь хоть после смерти не к-командовать, – огрызнулся брат и тут же закрыл себе рот руками, ловя испуганные взгляды родственников со всех сторон.

– Да, утрата творит с людьми еще и не такое. Уж я-то знаю, – скорбно произнесла церемониймейстер.

Илюша вновь достал бумажник и положил в бездонный

карман ритуальной затейницы пять красных купюр. У нее тут же, словно из воздуха, всплыла в руках рация, и красный рот отчеканил: «Сейчас же в печь!»

Я застонал. Илюша обхватил виски, пытаясь остановить жгучую головную боль, и прибавил шаг. Гроб мой с помощью дорогого механизма как по маслу спустился на нижний этаж. Двое симпатичных мускулистых парней перетащили его на каталку, и один из них, помоложе, покатил по длинным тусклым коридорам, временами разгоняясь и вскакивая ногами на поперечную перекладину, как я в детстве – на заднюю сцепку трамвая. В каком-то промежуточном загоне с гроба сорвали все бронзовые завитушки, до блеска натерли их тряпочками и сложили в отдельный пакет. «Продадут следующему клиенту», – беззлобно подумал я. Крышку крепко завинтили шурупами в специальных углублениях, и запертое тело мое подъехало к новенькой чехословацкой печи с радостным окошком сбоку. С противня согбенная женщина сметала остатки чужого пепла в ведро с огнеупорной номерной табличкой. Мне стало интересно. В мире оставалось еще столько мест, где я, оказывается, ни разу не был. Моя жизнь последние годы распределялась между клиникой (ординаторской, операционной), квартирой на Ордынке, подмосковной дачей и островными курортами типа Мальдив или Бали. Ни там, ни там не было ничего подобного. Гроб мой поставили на рельсы, заслонка гостеприимно открылась снизу вверх, и я въехал внутрь длинного метал-

лического бокса, весьма тесного и неудобного. Хорошо, что Илюша не видит, подумалось мне, иначе он отвалил бы еще с десяток купюр за расширение площади и дополнительные удобства. Пока я рассматривал печь изнутри, в камеру подали газ, он вспыхнул, и пламя агрессивно, с двух сторон, начало пожирать мою обитель из красного дерева. Я почувствовал какую-то тянущую маету, и хотя за полтора часа церемонии уже осознал, что никак не связан с телом, но странным образом – не болью, не тактильными ощущениями, а какой-то особой вибрацией – ощущал, что оно преобразовывается в нечто для меня непривычное и да, не очень приятное. Массивный гроб треснул и распался, а мое тело со стороны начало вести себя как живое, поднимаясь, извиваясь, корчась, изрыгая собственные же внутренности. Оно напрягалось как могло, кряхтело и тужилось из последних сил, будто желало выпрыгнуть из тесного ящика, но потом в секунду сдалось и осело, как молочная пенка в кастрюле, с которой сняли крышку, расслабилось и поддалось огню, смирившись со своей участью. Признаться, я так переживал за него в этот момент, что не заметил, как очутился в какой-то громадной огненной трубе, плотно набитой такими же бестелесными созданиями, как и я сам. Они не обращали на меня никакого внимания и не вызывали никакого раздражения. Любопытно, что меняя угол зрения, можно было увидеть их прежние земные облики, застывшие каждый в своем предсмертном возрасте и одежде. Мое размышление о том, как

же видят со стороны меня, прервал резкий визгливый голос:
– Старшуля! Ты и здесь первый! Поди обними свою бабу-
сю!

Я остолбенел. Настолько, насколько может столбенеть не имеющая плотности и формы субстанция. Ко мне по огненному коридору, распахивая всех локтями, ковыляла старуха в рванье. Глаза ее светились безумием, рот был перекошен, она демонически смеялась и брызгала слюной.

– Отче наш, иже еси на небесех, – пролепетал я трусливо и подался назад.

Прорываясь сквозь запутанную, как клубок проводных наушников, память, я старался понять, из какого ее сплетения взялся этот жуткий, но знакомый образ. Санитарка в моей клинике? Нищая в подземном переходе под Тверской? Пациентка, которую я оперировал? Кто это?

– Поди обними Эпоху! Эпоха заждалась тебя, Старшуля! – Бабка приблизилась ко мне, щерясь и показывая расколотые зубы.

Эпоха! Бог ты мой! Сумасшедшая бабка Эпоха из нашего с Илюшкой детства. Почему она? Что за сюрприз, что за посмертный подарок, Господи? Театральному мэтру – обиженная абитуриентка, а мне – ...Ну и шуточки у тебя, Всевышний... Я попытался исчезнуть, но исчезать было некуда и нечему.

– Айда, Эпоха выведет тебя отсюда, – она протянула руку с узловатыми пальцами и слоистыми ногтями.

Я сморгнул, как будто при жизни рассматривал стереокартинки: пойманный в фокусе объемный корабль или динозавр вновь превращался в плоское изображение повторяющихся мелких деталей. Примерно так же образ старухи расплылся в прозрачное пятно, гораздо более плотное, чем другие обитатели коридора. Оно достигло моих границ, вытянуло амёбную лапу и увлекло меня за собой.

Глава 2. Братья

Илюша выл на кухне, прикрывая опухшую губу грязными ладонями. Мама, Софья Михайловна, пыталась оторвать его руки, но он вопил еще громче, мотая головой и заливаясь слезами.

– Лети к автомату, вызывай скорую, что стоишь, Родион! – кричала она старшему сыну, пока младший наполнял дом звуками противопожарной сигнализации.

– Так, стоп, Соня, все замолчали, и немедленно! – В комнату ворвался отец с фонариком в руке. – Прекрати выть и открой рот! – скомандовал он Илюше.

Тот убрал руки и разверз кровавую дыру, в которой сложно было что-то разобрать даже под лучом фонаря.

– Поддай шприц и физраствор! – приказал Лев Леонидович жене, и она кинулась к фанерной аптечке, приколоченной к стене.

Пока отец намыливал руки, мама набирала прозрачную жидкость в огромный стеклянный шприц без иглы. Родион подошел поближе и с интересом заглянул в рот орущему брату. Папа оттолкнул его локтем, вставил два пальца Илюше за щеку, раздвинул их рогаткой и направленной струей стал смывать кровь сначала с нижней, а потом и с верхней десны. Постепенно картина начала проясняться. На фоне белого, как фаянс, верхнего ряда, прямо по центру зияла пробо-

ина с острым осколком выбитого зуба. Отец осторожно потянул за него, Илюша застучал ногами по полу.

– В травматологию. На снимок. Нужно проверить, нет ли трещины в челюсти! – заключил папа.

В больницу они поехали вчетвером. Родиона не звали, но тот увязался, аргументируя тем, что будет подбадривать младшего брата. В трамвае он уллучил момент и шепнул на ухо Илюше:

– Теперь тебе удобно будет плевать, как беззубым зэкам на стройке!

Илюша содрогнулся и с ненавистью пробубнил:

– П-первым, на кого я х-харкну, будешь ты, к-козлина.

В белом унылом коридоре травматологии они прождали около часа. Еще час Илюшу гоняли по кабинетам на рентген и обратно. Наконец к родителям вышел врач и сказал, что ребенка отправляют в лицевую хирургию. На верхнюю челюсть нужно ставить скобу и ждать, пока заживет, прежде чем протезировать зуб.

– Ну как ты не уберег брата, – укоряла Родиона мама, пока они тряслись в карете скорой помощи.

– У-уберег? – пробубнил Илюша с набитым ватными тампонами ртом. – Д-да это он п-подставил мне п-подножку на ступеньке п-подъезда.

– Смеешься? Ты просто бегать не умеешь! Говорил тебе, не лезь в игру со старшими. Не дорос еще, – усмехнулся Родион.

– Не ссорьтесь, мальчики. Вы – Гринвичи – одной крови и должны держаться друг за друга, – эти слова отец повторял каждый день, и братья содрогались от них, как командир тонущей подлодки от фразы «Все будет хорошо».

После двух месяцев больницы Илюшин рот еще долго приходил на брошенный в лесу дзот с амбразурой, из которой ржавым пулеметным стволом торчала какая-то железка. Железку стоматологи периодически вращали, исправляя неправильное срастание челюсти. Илюша орал от боли, ему казалось, что этим адским рычагом раздвигают по швам череп вместе с его содержимым. Лев Леонидович возил его по разным врачам, дважды ездили даже в столицу к светилам, но они пожимали плечами. Плевая, казалось бы, потеря зуба с расщеплением челюсти давала неведомые медицине осложнения.

– Да у него вечно так, – ухмылялся Родион в компании друзей, – занозит пальчик на ноге, и тут же гангрена до уха.

Пацаны смеялись, Илюшу трясло от обиды и ненависти. Он до преклонных лет жил с этой болью, постоянно меняя импланты – от топорных советских в детстве до американских титановых в зрелости, но все они не приживались, разрыхляя кость и причиняя невероятные страдания. Каждый раз, закрывая рот, он делал захватывающее движение верхней губой, подобно золотой рыбке в аквариуме. Нервный импульс, мгновенно отдающий в бровь, воскрешал одну и ту же картинку: девять лет, прятки, темный подъезд, он бежит

со второго этажа ко входной двери, еле сдерживая в горле «стуки-стуки я», и прислонившийся к перилам брат неспешно, как заторможенный шлагбаум, поднимает ногу. Илюша цепляется коленом за Родькину кроссовку, пролетает над лестницей и приземляется у выхода, тормозя подбородком о нижнюю перекладину дверной коробки. Как густая грязная вода из опрокинутого ведра уборщицы, нереально яркая алая жижа поглощает напольную плитку из коричнево-белых квадратиков, заливаясь в трещины и раскрашивая кривые стыки. Вой, смех, визг, занавес.

Родька был старше на два года. Красивее, крепче, весомее. С самого детства обладал мужской фигурой с тонкой талией, широченными плечами и упругим рельефом на руках и животе. Никаких складочек, сладкого жирочка, ямочек на щечках и прочей утютюшной милоты в нем никогда не было. У него как надо росли волосы – темно-русые, прямые, они идеально стриглись и образцово отрастали, брутально обрамляя Родькино лицо. Ровная кожа хорошо загорала, пальцы на ногах четко влезали в любую обувь без примерок и подгонок. Пальцы на руках ловко складывались в бойцовский кулак, который красиво летел врагу в рожу. Родькина пластика была безупречной, колени пружинили как надо, ноги скручивали спринтерскую шестидесятиметровку за десять секунд, на перекладине он висел как бог, подтягивался, перекручивался, качал пресс, не покрываясь потом и не краснея лицом. Илюша был отражением Родиона в самом

гнусном из всех кривых зеркал. Белокожий, идущий пятнами на солнце, с предательскими светлыми кудрями до плеч, с ямочками везде, где только можно, – на подбородке, на щеках, на локоточках и даже на икрах, он бесконечно простужался, болел всеми детскими инфекциями, вечно полоскал воспаленное горло, исходил соплями на цветочную пыльцу весной, на клубнику летом, на кожуру картошки осенью и на мороз зимой. Турник для него был адом. Он висел на нем разлохмаченной веревкой, дергался, краснел, пучил глаза, но не мог приподнять свое худое тело ни на сантиметр. На беговой дорожке с тринадцатого метра ноги его начинали заплетаться, и он падал, обязательно зачерпывая нижней губой пригоршню пыли, отчего потом его рвало и одновременно прошибало бактериальным поносом. За воскресными семейными обедами при гостях мама всегда рассказывала одну и ту же историю: «Родька – тот родился богатырем, с темной шевелюрой, пять килограммов сорок пять грамм! Акушерка вынула его и ахнула: ну, этого сразу в детский сад можно пешком отправлять! А Илюшенька, господи, два кило четыреста! Худой, лысенький, без ресниц, ручки тоненькие тянет, даже плакать не может, такой был слабенький!» При этих словах оба брата закрывали уши руками и воздевали глаза к небу.

– Мам, ну хватит уже!

Старшего тошнило от младшего. Младшего тошнило от самого себя. Этот ритуал исполнялся десятилетиями и стал

главным воспоминанием о семейных праздниках.

Абсолютно нелогичным образом братьям нравились одни и те же девочки. Еще более нелогичным образом каждое женское сердце разбивалось сразу о них обоих. Если Родик заводил подружку, она влюблялась в белокурого меланхоличного Илюшу, как только ее приводили в родительский дом. Когда Илюша начинал «ходить» с одноклассницей, та теряла дар речи, увидев раз старшего брата-брутала. Первыми, кто попал в эту мышеловку, стали подружки-шестилетки Танечка и Юля из дома напротив. Одна из них призналась другой, что любит первоклассника Родика. Вторая вздохнула и сказала, мол, ладно, тоже люблю Родика, но согласна на пятилетнего Илюшу. Первая подумала и вцепилась подруге в волосы. Та не замешкалась и ухватила за нежные уши соперницы. Детская площадка за десять минут была устелена русыми волосиками, рванными ленточками и железными невидимками с божьими коровками и ромашками на концах. Танечка надкусила Юле переносицу. Юля зубами сорвала пряжку с Танечкиного ботинка. Обоих в крови и соплях матери приволокли к Гринвичам:

– Из-за ваших говнюков они чуть не покалечили друг друга! – визжали наперебой женщины, пытаясь пропихнуть девочек в квартиру.

Софья Гринвич, внимательно рассмотрев боевые травмы подружек, не без гордости вздохнула:

– То ли еще будет, мамыши, то ли еще будет...

Софья Михайловна оказалась права. Танечка еще пару раз за свою молодость пыталась отвоевать хотя бы одного из братьев. Из-за Илюши резала вены, от Родиона изобразила беременность. Юлю родители вовремя увезли из двора, помня квартиру с одной окраины города на другую. Правда, Юля успела оставить след в жизни обоих Гринвичей. В младших классах они после уроков толпились на пришкольной площадке в куче однокашников и вели задушевно-язвительные беседы. Был лютый декабрь, Родион, захватив коленями турник, в легком (как всегда) пальто висел вниз головой без шапки, вокруг него вились восторженные девчонки. Илюша в тяжелом бараньем тулупе не мог даже просто согнуть руки в локтях. А потому сидел на сугробе и беседовал с Юлей.

– Ну все же, кто тебе больше нравится: я или Танька? – напирала Юля.

– Т-ты, – покорно отвечал Илюша.

– Как-то неуверенно ты говоришь, – провоцировала она, – даже в глаза мне не смотришь.

– Д-да я п-просто голову не могу п-повернуть, п-пуговица не шее жмет, – отвечал Илюша.

– Ну а в Таньке ведь тоже что-то есть хорошее, да? – не унималась Юля.

– Д-да, – соглашался он.

– Что?

– У нее к-красивые к-колготки.

– Красивее моих???

– К-красивее.

Юля взвившейся коброй накинута на Илюшу и вцепилась зубами ему в тулуп на уровне плеча. Он заорал, Родион, кинувшись на рев брата, соскользнул с обледеневшего турника головой вниз и с жутким хрустом упал на землю. Всю толпу снова привели домой, предварительно вызвав отца-Гринвича с работы. Родьке с открытым переломом руки тут же вызвали скорую, с Илюши стащили идиотский тулуп и сняли рубашку. Между плечом и локтем ровной кобылиной подковой в запекшейся крови красовался отпечаток Юлиных зубов. Родькин перелом сросся неудачно, но зажил быстро, оставив лишь синюшный бугорок на поверхности руки. Илюшина сверхчувствительность и неспособность к регенерации запечатлела Юлин прикус на плече до самой его кончины.

Родион и здесь оказался героем. Он лежал в больнице в красивом гипсе, папа с Илюшей носили ему апельсины. В городе цитрусов не было и в помине, родственники переправляли их из Ленинграда в фанерных ящиках с сургучом. (О, смолянистый запах сургуча с апельсиновой коркой! У Илюши перекрывало трахею, а слезы въедались в морщины, когда этот аромат являлся ему во снах после смерти брата.) Мама варила компот из черной смородины и сухой, дико редкой ежевики. Илюша невыносимо страдал. Он опять был причиной хлопот всей семьи и объектом насмешек.

– Ну что, все Юлькины зубы вытащил из своего плеча? –

подсмеивался Родион. – Думаю, если бы ты был в бронежилете, то и это бы тебе, неженке, не помогло.

– П-просто у нее м-мертвая хватка, видимо, в с-спецназе т-тренировалась, – не показывая обиды, отшучивался Илюша. – Д-дай попробовать ап-пельсин!

Пока мама или папа беседовали с врачом в коридоре, они вдвоем неловко сдирали апельсиновую шкуру и, вцепившись зубами с двух сторон в несчастный цитрус, соревновались, кто быстрее догрызет до середины. Руками помогать было нельзя, и они, хрюкая, обливаясь соком, встречались липкими носами и хохотали до колик в животе.

– Ну а т-ты как бы от-ответил на Юлькин в-вопрос, что-бы она не ук-кусила? – вытирая лицо Родькиной больничной простыней, спросил Илюша.

– Я бы просто поцеловал ее, – ответил брат. – Даже если бы она мне не так уж и нравилась.

– И в-все?

– И все!!! Делов-то! Учись, пока я рядом!

Илюша после этого случая перецеловал всех девочек из школьной параллели и ближайших домов. Он сделал затяжной перерыв, только когда оказался без зуба, но как только ему вставили первый протез, тут же возобновил практику. Софью Михайловну чуть не уволили с работы – она была эндокринологом в поликлинике – за постоянные больничные листы по уходу за ребенком. После каждой девчонки, а Илюша быстро научился целоваться взасос, он непременно на-

следовал ангину, герпес, моноклеоз, вирус папилломы и весь список того, что даже чисто теоретически можно подхватить через слюну.

— Если ты не натренируешь свой иммунитет, до старости будешь хлюпиком! — подзуживал Родион, который сам ни разу не кашлянул не только после поцелуев, но даже после бычков, которые подбирал и докуривал на улице.

Илюша сатанел от несправедливости. Перед братом жизнь радушно открывала все двери и сыпала лепестки на ковровую дорожку со словами «Чего изволите?» Перед его собственным носом двери с треском захлопывались, и за каждое мало-мальское удовольствие приходилось троекратно платить болью и страданиями. Жизнь вытрапливала Илюшу из своих пределов, смеялась над ним, доказывала, что не по Сеньке шапка, не по рылу каравай, не по Трифону кафтан и не по Хулио Мария. Но он принимал вызов с азартной злостью, сжимал зубы и продолжал делать все то, что с легкостью позволял себе брат.

Слава настигла его неожиданно. Из-за болезненной чувствительности он обнимал девочек мягко, тонко, надрывно, бархатный язык его касался губ деликатно, как бы спрашивая разрешения. С небольшим подсосом он ласкал девичьи неба и щечки изнутри так, будто гладил шиншиллу. Шелковистые, нереально нежные подушечки его пальцев дарили такие прикосновения, о которых в итоге заговорила вся школа. В седьмом классе его буквально за шиворот затащи-

ла в пустую раздевалку спортзала десятиклассница Тамарка, известная в округе шалава и нюхачка.

– Ну... ты, говорят, нежный, – перемалывая челюстями жвачку, сказала она.

– Н-не знаю, – Илюша научился уже не тупить взгляд.

– Так сейчас и узнаем. – Она села на лавку, сняла фартук, расстегнула пуговицы на коричневом платье и выставила наружу сочные яблочные груди с вишневыми сосками. – Нравится, котенок?

– К-красиво. – Кивнул он.

– Давай проверь на упругость.

Он подошел и подкрутил подушечками пальцев соски, будто тумблеры на магнитофоне. Она закатила глаза и застонала. Он полностью уместил ее буферы в ладони, поиграл, словно на клавишах рояля, и заскользил руками к позвоночнику, едва касаясь персиковых волосков на ее коже. Тамарка открыла рот, вывалив на платье розовую жвачку. Илюша припал губами к ее шее и начал медленно подниматься к подбородку. Десятиклассница замычала, как подстреленная олениха. В раздевалку огромными кулачищами постучал физрук и пробубнил:

– Тамарка, открывай, шмара, у меня секция баскетбола начинается.

Илюша встал с колен и поправил опухшие штаны.

– Ты, котенок, «дури» не хочешь попробовать? – застегивая платье, спросила она.

Илюша просиял. Таким козырем против Родиона он еще не обладал никогда.

– Х-хочу.

– Ну жду тебя после школы на заднем дворе, – сказала она и, приблизив к себе его лицо, поцеловала в губы. – Я тебя многому научу.

– А б-брат мой можно п-придет?

– Ну пусть, – засмеялась Тамарка, – если ты его не стесняешься.

В конце уроков Илюша подошел к компании Родиона вразвалочку и встал, засунув руки в карманы брюк.

– Че надо? – спросил Родион, отрываясь от толпы.

– М-меня дома не жди, – процедил Илюша, – я с Т-тамаркой из десятого «Г» п-пойду «дурь» курить.

– Да ладно врать.

– С-спроси ее с-сам.

– Я с тобой.

– Только если с-свой велик мне отдашь.

– На неделю забирай.

– Н-навсегда!

Родион ковырнул носком ботинка землю.

– Ну ладно, – согласился он. – Если сам дойдешь домой после «дури» – он твой!

Тамаркина однокомнатная квартира была недалеко от школы. Отца у нее не было, мать сильно пила и часто не ночевала дома. Когда Родион с Илюшей позвонили в дверь, комната была уже в сладком дыму, а на диване сидели двое незнакомых парней и девчонка с тяжелым лицом и засаленными волосами.

– О, это мой будущий муж! – Тамарка подскочила к Илюше и поцеловала его в щеку.

– Родион, – представился брат и протянул Тамарке руку.

– Какой рослый, – удивилась она, вложив ему в огромную ладонь свои тонкие пальцы, – ты же только в девятом?

Родька, не разжимая кисти, притянул ее к себе, полуобнял и заглянул в глаза:

– Разве это важно?

– Ого! – прыснула Тамарка. – А может, ты – мой будущий муж?

Илюша недовольно уселся на диван. Родька был в своем репертуаре. Прыщавый парень протянул ему тонкую облюбовленную сигарку. Илюша брезгливо сунул ее в рот и затянулся.

– Ща на «хи-хи» пробьет, – предупредила засаленная девчонка.

Брат подсел на диван, к нему на колени плюхнулась Та-

марка. Они по очереди втягивали липкий дым дешевой марихуаны, хохотали и матерились. С третьей затяжки у Илюши закружилась голова. Он встал, чтобы пойти к туалету, но упал на пол и издал утробный звук. Компания заржала еще сильнее. Илюшу мучительно рвало прямо на плешистый ковер, он содрогался всем телом, пытался вытереть рот концом рубашки, но только размазывал рвотные массы по лицу.

– Что и требовалось доказать! – торжественно произнес Родион, стряхнул с себя Тамарку и медленно подошел к безжизненному, как засохшая плеть огурца, брату.

Невозмутимо взял Илюшу на руки, отнес в туалет и долго отмывал от блевотины, вытирая первым попавшимся полотенцем. Потом вернул в комнату и сгрузил на кресло в углу.

– Ну что, ковер сворачиваем и на помойку? – спросил он Тамарку.

Та ржала и кивала. Родион вместе с прыщавым парнем выбросили ковер и вернулись к следующему косячку. Илюша сквозь прикрытые ресницы, сдерживая подкатывающие к горлу комки, обреченно наблюдал, как компания поэтапно убывала. Сначала на полу заснула сальная девчонка, затем куда-то испарились оба парня, и в итоге на диване Родион с Тамаркой занялись каким-то яростным сексом, скрипя пружинами и хромыми деревянными ножками.

– Н-ну что же так грубо... – в Илюше шевелились остатки туманного мозга, – она же д-девочка, такая тонкая, такая вкусная. Мужлан т-ты, Родион...

В конце неизящного, на вкус младшего брата, процесса у десятиклассницы не было сил даже стонать. Родька крякнул, натянул штаны и отправился в ванную. Тамарка заплакала, завернулась в халат и села на пол рядом с креслом Илюши.

– Ну почему же ты такой маленький, слабенький? – причитала она, глядя Илюшины белые локоны. – Ты расти, крепчай, мужай. А я тебя дождусь. Хочешь? Брошу курить, займусь математикой, поступлю в кулинарное. Буду кормить тебя, родной, нежный... Самый нежный...

Она взяла Илюшину руку и прижалась к ней щекой.

– Буду любить тебя одного, хочешь?

– Х-хочу, – проблеял Илюша.

Подошедший Родион смотрел на эту пастораль, ехидно прищунив глаз.

– Короче, Тамарка, садись за математику, а этого красавца мне еще домой переть на себе.

Он надел на Илюшу пиджак, взвалил на плечо, как мешок с соломой, и потащил прочь.

Велосипед Илюше не достался. Зато через мокрое Тамаркино полотенце, которым его заблеванный рот вытирал брат, или же заслуженный косяк он подхватил хламидиоз.

– В чем секрет, придурок? – рассуждал Родька, сидя у его постели. – Спал с Тамаркой я, а в вендиспансер ходить теперь тебе!

– В чем с-секрет, п-придурок? – глумливо парировал Илюша. – С-спал с Т-тамаркой ты, а в-влюбилась она в меня!

– Вот это единственное, что не умещается в голове, – на-
прягая подбородок, говорил Родион и не упускал случая ото-
мстить младшему брату...

Глава 3. Курвиметр

Если бы не Родька, перед которым нужно было всегда выглядеть взрослым и сильным, Илюшина жизнь сложилась бы принципиально иначе. Он любил созерцать, любил придумывать свои миры, любил рассматривать вещи, осознавать их природу, рождение, предназначение. Он мог надолго застрять взглядом перед линией шва на папиной рубашке и думать о том, почему этот стежок на планке больше, чем все остальные. Наверное, швея услышала плохую новость и дернула тапком на ножной машинке, или сама машинка выработала ресурс и плохо проталкивала ткань, может, ее не смазывали из масленки, такой кругленькой с тонким носиком, какая лежала у папы на полке с инструментами. Погружаясь в эту бездну причинно-следственных связей, он неизменно приходил к мысли: «А почему я?» Почему я вижу этот мир и размышляю о нем, почему я чувствую прикосновение иголки, почему мне натирает ботинок? Почему это ощущаю я, а не папа, не мама, не Родька? И чувствуют ли они этот мир вообще? В эти минуты он отрывался от самого себя и парил где-то высоко над землей. А когда возвращался, то крайне удивлялся, что вновь попал в собственное тело. Особенно будоражили Илюшино воображение разные измерительные приборы. Циферблат часов, весов, шкала штангенциркуля вызывали в нем непостижимый трепет. Самым люби-

мым его местом был магазин-военторг недалеко от дома. Он ходил туда почти каждый день, чем вызывал улыбку и расположение худого старика-продавца. Илюша надолго залипал возле витрины со всякой оптикой и приборами. Он подробно спрашивал старика, в чем смысл каждого предмета, где тот применяется и насколько уникален. Особенно нравились ему истории деда о том, как в войну один его друг заблудился в лесу без компаса, другой нарвался на фашистов без бинокля, а третий не рассчитал расстояние по карте без курвиметра. Дед придумывал байки на ходу, но Илюшин мозг обналичивал фантазии в настолько осязаемую реальность, что слышал лязг танковых гусениц, стрекот пулеметов, вонь портянок и пороха.

– Ку-кур-ви-метр, – заворуженно повторял Илюша и трогал пальцем гладкую поверхность круглого приборчика на колесике с зеленой фосфорной стрелочкой и множеством кругов делений и циферок, которые, как матрешка, тонули один в другом. Корпус курвиметра был деревянным, с природными прожилками, отполированный и покрытый лаком. Бронзовая ручка с резьбой приятно шершавила пальцы, желтое колесико шустро бегало по старой военной карте, которую старик расстилал на витрине и подолгу вместе с белокурым подростком измерял на ней реки и дороги, рассчитывал, умножал, переводил в километры.

– Подарочный экземпляр, – говорил старик, – для генералов. В единственном числе. Только в мой магазин завезли.

Курвиметр стоил 3 рубля 14 копеек. Илюша твердо решил, что должен им обладать. Кисель и калорийная булочка с повидлом в школьном буфете стоили 9 копеек. Мама каждый день давала десять. Илюша выпивал кисель за четыре и шесть оставлял себе. За три месяца и без того худой восьмиклассник превратился в скелет. Плотные мамины ужины не спасали. В школе он шатался от голода и ничего не сообщал. Однажды на хоре, стоя в самом дальнем ряду на высокой лавке, он потерял сознание и рухнул на пол. Девочки обмахивали его фартуками и обтирали лицо мокрыми тряпками для доски, нарезанными из вафельного полотенца.

Но мешочек для желтой мелочи постепенно наполнялся, и Илюша менял ее у того же старика сначала на беленькие двадцатки, а потом – на бумажные рубли. Дед переживал за парня: в то время как в магазин заходили посетители, незаметно убирал курвиметр с витрины, чтобы никто не позарился. Наконец, когда Илюшины кости начали без рентгена просвечивать сквозь рубашку, старик обменял мелочь на зеленый хрустящий трояк. Илья скрутил его в трубочку и затолкал за тяжелую раму репродукции Айвазовского, висевшей в родительской спальне. Цель была настолько осязаема и достижима, что Илюша, прежде чем накопить оставшиеся 14 копеек, пару дней позволил себе побаловаться в буфете булочками. Родион знал о мечте брата и тихонько над ним посмеивался:

– Когда ты превратишься в мумию, я измерю этим курви-

метром все твои впусклости, – говорил он, толкая Илюшу в костистое плечо.

В это время погостить к Гринвичам приехала троюродная тетка из Ленинграда (та самая, что присылала апельсины). Взбалмошная, бесцеремонная, она раскатисто хохотала, сыпала прибаутками и, заходя в квартиру, швыряла свою сумку в коридор, как будто пыталась сбить мячом далекие свинцовые кегли. Илюшу она утомляла. Он любил тишину и уединение. Но дома ежевечерне были громкие обеды с обязательным упоминанием того, что Родион родился богатырем, а Илюша – хлюпиком на два кило четыреста. Как-то вечером тетка вернулась зареванная – сообщила, что потеряла три рубля и теперь ей не на что купить билет обратно до Ленинграда. Родители суетились, причитали, квартиру обыскивали, тетка настаивала, что деньги пропали именно дома. Когда нервы были на пределе, Родион с видом экскурсовода провел всех в родительскую комнату и жестом фокусника достал из-под рамы Айвазовского свернутый в тугую трубочку трояк. Илюша стал пергаментным, все уставились на него и замолчали.

– Эт-то я н-накопил... На ку-урвиметр... т-три месяца...

Его никто не слушал. Родион был признан героем, Илюша – вором, деньги передали тетке...

Он зашел в военторг спустя год, после пневмонии и затяжной депрессии, которую пытались вылечить все психиатры города. Старик ахнул:

– Что с тобой, сынок? Я так тебя ждал...

– М-мои деньги ук-крали, я не мог за-заплатить, – вяло произнес Илюша.

– Ну, не стоило так, не стоило... – зачастил дед, – да и купили его вскоре, не смог спрятать, не смог. Из Центрвоенторга, видимо, сюда покупателя направили. Пришел, сказал: «Мне курвиметр. Деревянный. Генеральский...» Прогнал, куда деваться...

Илюша осмотрел витрину. Компасы, градусники, рации, бинокли не вызвали в нем никаких чувств. Старик зашелеstel военными картами.

– Не н-надо, – сказал Илюша. – Я н-наигрался.

Депрессия длилась долго. От назначенных таблеток тошнило и клонило в сон. В школе над ним смеялись. Тамарка не дождалась его взросления. Она подтянула математику, поступила в кулинарный техникум и через семестр умерла от передозы – прыщавый посадил на героин. Хоронили ее всей школой. Подростки как неоперившиеся воробьи озирались и виновато волочились за учителями. Был поздний апрель, от внезапного тепла резко набухли почки, растопыри-

лись лепестки календулы, хлынул березовый сок. Смерть была неуместна, неприлична, бесстыжа, непостижима. В дешевом сосновом гробу на марле в несколько слоев лежала красивая Тамарка, чуть бледнее обычного, с темными ободками вокруг закрытых глаз. Илюша внезапно осознал, с кого Врубель писал свою Царевну-Лебедь. После того как гроб затолкали в грязный катафалк, а директор школы произнесла речь о вреде наркотиков и распутного образа жизни, Илюша поехал в комиссионку в центре города, где давно среди старинной мебели висела копия Врубеля. Он попросил опрятную бабулю-продавца подойти к картине поближе. Она разрешила. Тамарка смотрела на него сквозь несколько слоев пыли своими огромными, мученическими глазами с героиновыми синяками. В той же многослойной марле и замысловатом кокошнике с камнями.

– Знаете ли вы, кто был ее прототипом, молодой человек? – спросила опрятная бабуля. – Жена художника, оперная певица.

– Е-эрунда, – ответил Илюша, – это Т-тамарка. Она иногда п-приходит в этот мир. С-сколько с-стоит к-картина?

– Пять рублей, – бабуля опешила.

Богopodobный худой подросток с бездонным взглядом и шелковыми кудрями до плеч выглядел пророком.

– Ну для вас – четыре пятьдесят, – добавила она.

Илюша по-жабьи захватил верхней губой вечно ноющий керамический зуб, дернулся глазом и потусторонне улыбнулся.

ся. Депрессию сняло как рукой. У него была новая мечта. Он хотел до конца дней быть с Тamarкой рядом, вытирать пальцами пыль с ее лица, купаться в настрадавшихся глазах. И ни слова Родиону, ни одного намека.

Глава 4. Шалушик

– Скоооль-коо стоо-иит каар-тии-наа, – нараспев говорила логопед, положив ладонь на Илюшину руку. – Мы на каждый слог как будто нажимаем пальчиком клавишу. Не торопись, пробуй. Словно поешь песню.

Илюша любил заниматься с логопедом. С этой крупной спокойной женщиной он чувствовал себя в безопасности. Будто на ржавую щеколду в мозгу капали чуточку масла, и она отпускала его речь в свободное плавание. В обычной жизни, прежде чем выйти наружу, его слова толпились возле этой идиотской заслонки, как стадо овец около выхода из загона. Впереди стоящую особь толкали в зад предыдущие, и она, блея и спотыкаясь, прорывалась сквозь узкий проход.

Илюша начал заикаться в семь лет. После странного случая, о котором еще долго говорил весь район. В их доме, через два подъезда, на первом этаже жила сумасшедшая бабка лет шестидесяти. Сухая, кургузая с узловатыми руками, она редко появлялась на улице, но когда выходила во двор, сразу направлялась в толпу детей, пытаясь завязать с ними беседу. Старуха порой страдала иноходью и передвигалась нелепо: левой ногой-рукой – затем правой ногой-рукой. При этом отключивала вставную нижнюю челюсть в такт своей марионеточной походке. Неорганичность бабки вызывала у людей страх и отторжение. В основном она тихо бормотала

себе под нос, но периодами издавала глоткой громкие железные звуки. Каждого дворового ребенка она называла своей кличкой. Танечка была «Куклей», Родион – «Старшуй», Илюша – «Шалушиком». Сама же часто любила повторять фразы типа: «Эпоха должна быть мне благодарна!», «Я – гордость эпохи!», «В какую эпоху мы живем, товарищи!!!». Дети в результате прозвали ее Эпохой, она быстро к этому привыкла и начала говорить о себе в третьем лице: «Эпоха пойдет в магазин за кефиром», «Шалушик проводит Эпоху до дома».

Илюша часто жаловался маме, что Эпоха за ним следит. Мама трепала его светлые волосы, целовала в лоб и смеялась: «Нам еще паранойи не хватало. Больная женщина, надо ее пожалеть». Эпоха и вправду выделяла Шалушика из всех остальных детей. Наблюдала за ним, скаля желтые зубы, давала советы.

– Шалушик не лезет на велосипед, Шалушик расшибется. Пусть Старшуй расшибется.

Илюша вздрагивал и старался быстрее скрыться. Она все время пыталась до него дотронуться, поджидала у подъезда, и когда он выходил, начинала хохотать. Однажды принесла из хлебного магазина булку с изюмом и протянула ему:

– Шалушик любит Эпоху. Эпоха даст ему булочку.

Илюша долго не решался взять из сухих грязных пальцев булку. Пацаны, стоявшие рядом, глумливо смеялись. Кто-то стукнул Эпоху по руке, булка выскочила и упала на пыльный

асфальт. Илюша кинулся поднимать. Его толкнули в спину, он упал и расстелился у ног чокнутой бабки. Она вмиг накрыла его своим телом, будто спасала от бомбардировщика. Он вырвался, сунул булку в рваную сетку Эпохи и дал деру. После этого она караулила его за каждым углом и шипела:

– Шалушик не взял булочку. Шалушика ждет угощение.

Илюшу не пугали страшные сказки братьев Гримм и рассказы ровесников о кровавой руке и зеленых глазах на стене. В сравнении с Эпохой байки об упырях и ведьмах были цветочной пылью.

В тот вечер он не вернулся домой. Мама не дождалась Илюшу к ужину, и когда Родион пришел с футбола (он был нападающим в районной команде), отправила его искать младшего брата. К Родьке присоединились дворовые пацаны, затем отец и все его знакомые. Илюши не было нигде, никто его не видел. К полуночи заявили в милицию. Папа сел с участковым в «уазик» и объехал все районные дворы. Мама билась в истерике. Родион, подсвечивая себе фонариком, клеил на подъездах объявления о пропаже ребенка. Из ближайшего автомата обзвонили все больницы и морги. Наутро объявили в городской розыск. Папа передал в милицию черно-белую Илюшину фотографию с первого сентября: он, белокурый, покусанный комарами, стоял на школьной линейке и держал гладиолусы. Карточка размокла от маминых слез. Не выдержал даже Родька. Он закрылся в кладовке и уткнулся в старое пальто, пропахшее нафталином. Мир без

Илюши внезапно опустел, потерял цвет и плотность. Казалось бы, Родион всегда ждал этого момента: чтобы брат исчез, испарился. Тогда бы вся мамина забота, все отцовские подарки, вся девчоночья любовь досталась бы ему, Родьке. Факт рождения младшего брата, которого сразу же начали опекать, был для него невыносим. Мама кружилась над малышом как орлица. Все разговоры в семье были только о том, как вылечить Илюшу, как его накормить, дать ему лучший кусочек. Родиона замечали только тогда, когда нужно было сбегать Илье за лекарствами, за молоком, вызвать врача, передать на вечное ношение любимую олимпийку или кеды... Самое первое чувство несправедливости Родька испытал в два с половиной года. Была метель, мама шла по улице, торопилась на прием к врачу, одной рукой держа замотанный в одеяло кулек с полугодовалым Илюшей, а другой волоча за собой упирающегося Родика. На перекрестке она поскользнулась, потеряла равновесие и, чтобы не упасть, отшвырнула от себя Родиона, еще крепче прижав к груди молочного Илью. Родик отлетел в сторону, рухнул на спину, ударился затылком об лед и заревел. Он не чувствовал боли. Он чувствовал, что мамина рука его оттолкнула. Он был неважен, недорог, нелюбим и навсегда вторичен. Сколько раз ему потом объясняли, что у мамы не было другого выхода, что если бы она упала, разбились бы все трое, что сработал инстинкт самосохранения, спасший жизнь и ему в том числе, – Родьку эти слова не трогали. В его сознание и тело вошел раскален-

ный императорский жезл: вы еще будете плакать от желания любить меня, но я вам этого не позволю. Мама пыталась заласкать, зацеловать Родиона, но он до конца жизни подставлял надутую щеку для ее поцелуя и, ухмыляясь, отводил глаза. Оттиск вины навсегда замер в глазах Софьи Михайловны, и стереть его не могли ни лучшие психиатры города, ни иностранные таблетки, ими же прописанные.

...Родион не испытывал ранее такого отчаяния. Слезы его падали на поредевший нутриевый воротник, и рыжая иссохшая шерсть поглощала их, не в силах напиться. Он представлял брата, которого всегда хотелось пнуть, поддеть, развести на слезы, в руках маньяка, отрезающего пальцы, руки, уши. Ему, Илюше, реагирующему на укус комара как на сверло дрели, буравящее нежную плоть. Он видел Илюшино лицо блее извести и понимал, что младший брат уже не зовет на помощь. От болевого шока его голубые глаза сделались стеклянными, кровь цвета печени запеклась на безжизненных губах. Родион отдал бы все, чтобы вернуть Илюшу домой, за обеденный стол, чтобы видеть, как он закатывает зрачки при словах мамы «два кило четыреста!», чтобы любить и ненавидеть его в этот момент, потому что Илюша дико смешно воздевал очи к небу, открывая рот с подрастающими разнокалиберными зубами. Пальто с влажной нутрией упало на пол, освободив холодную раму оранжевой «Камы» – велосипеда, подаренного папой Родьке на девятилетие.

– Я отдам тебе «Каму», только будь живым! – закричал

Родька в иступлении и истек слезами, как залитый соседями потолок.

К вечеру умненький участковый Виталья заканчивал опрашивать всех жильцов многоподъездного дома. В одном из них на первом этаже пожилой профессор пожаловался на ночной вой собаки за стеной, мешавший ему спать. Виталья знал всех собак своего участка в лицо и по именам, а потому насторожился. Соседи справа от профессора были немолодой интеллигентной парой с котом. Соседка слева – та самая Эпоха, которая днями не выходила из квартиры и живности не имела. Виталья с утра пытался до нее достучаться (звонок не работал), но бабка не открывала. Вечером он приложил ухо к двери, обитой драным дерматином, и услышал слабый скулеж. Подумал, что Эпоха подобрала щенка и забыла покормить. Покинул подъезд, дошел до конца двора. Нехорошее чувство сидело у него в желудке и давало легкую тошноту. Вернулся. Попросил у соседей с котом пустую стеклянную банку, приставил ее к стене возле двери Эпохи и вновь припал ухом. Несколько минут было тихо, а затем подвывание щенка возобновилось. Послышались шаркающие шаги, нечленораздельная речь Эпохи, шум от слива унитаза.

– Мама, мааа-ма! – заголосил щенок.

Виталья подпрыгнул и чуть не разбил банку. Кинулся в участок, а когда вернулся в машине с двумя операми, в подъезде уже собрались жильцы дома и вся семья Гринвичей. Интеллигентная пара с котом – владельцы банки – сработала

как советское информбюро: до каждой семьи в доме дошли сведения, что в квартире Эпохи милиционер Виталья что-то услышал.

– Ра-а-ступись! – скомандовал опер в бронежилете и с помощью фомки легко отжал нехитрый замок.

Дерматиновая дверь, старчески скрипя, распахнулась, из квартиры хлынул тошнотворный запах несвежей еды и грязного туалета. Опера с Виталей ворвались в коридор, посреди которого, расставив руки и ноги, подобно Витрувианскому человеку да Винчи, застряла Эпоха.

– Не пущу! – взвизгнула она. – Он – мой!

Опер с фомкой одним движением руки отодвинул Эпоху к стене, как японскую ширму, и освободил путь. Бабка успела вцепиться зубами ему в кулак, но он стряхнул ее словно пыль, невольно выбив ей нижнюю вставную челюсть. Все трое бросились к запертому снаружи санузелу, озверевший Виталья сорвал ржавый шпингалет. Дряхлая дверь, не выдержав напора, слетела с петель. Могучий опер ловко подхватил ее и припер к стене. На него сзади кидалась Эпоха и колодила ладонями по спине. В зияющем черном проеме – лампочка на потолке была разбита – на полу из треснувшей коричневой плитки, рядом с унитазом сидел восковой Илюша. Возле него в эмалированной миске лежал размоченный водой хлеб. От света, ударившего по глазам, он сжался в комок и закрыл голову руками.

– Шалушик любит Эпоху! – визжала сзади бабка. – Ша-

лушик Эпоху не покинет!

Жаждающие зрелища соседи от туалета Эпохи до самого выхода из квартиры выстроили жирную колбасу. Виталья протянул Илюше руку, тот, опершись на нее, встал и сделал несколько шагов. Колбаса рассредоточилась, образовав узкий коридор. По нему, медленно ступая, словно по гимнастическому бревну, двинулся Илюша. Он был настолько прозрачным, что казалось, по скрипучим доскам движется субстанция его души, а тело, неплотно прилегающее, вот-вот сорвется и растворится в воздухе. На лестничной площадке в толпе, что не уместилась в квартире, стояли мама, папа и Родька. Илюша на выходе споткнулся о порог и полетел отцу прямо в руки. Он был без сознания. Опера подхватили Эпоху под мышки и поволокли к машине. Беззубая, хлопающая губами бабка перестала сопротивляться и ветошью повисла на милицейских бицепсах. Из ее глаз на кривую подъездную плитку капали крупные слезы. Даже не слезы – градины величины с перепелиное яйцо. Они раскалывались о грязный пол, оставляя мокрые, протяжные следы...

Глава 5. Заика

Родион понял, что погорячился, когда рассматривал спящего под капельницей Илюшу на следующий день. Из его палаты только что ушли врачи, проводившие консилиум. Подтвердили, что на мальчике нет следов побоев и насилия. А его состояние – следствие психологического шока. Родька наклонился над лицом брата, оттопырил его левое ухо и заглянул за тыльную сторону. Затем он проделал то же самое справа. Не было никаких признаков того, что Илюше пытались их отрезать. Родион взял его руку и внимательно осмотрел все пальцы. Кроме искусанных в кровь ногтей, следов от ножа или бензопилы обнаружено не было. Другая кисть также опровергла худшие Родькины прогнозы.

– Ну, «Каму» ты точно не заслужил, – произнес вслух Родион. – Да и вообще, остался в своем репертуаре – умирающей неженкой, над которой все порхают и ахают.

Илюша спал около двух суток. Когда он открыл глаза, увидел лицо мамы. Она выглядела так, будто была свидетелем пришествия Антихриста. Щеки обвисли, посерели, губы и брови запечатались в гримасе ужаса, волосы из темно-русых стали пепельными. Мама мученически улыбнулась и поцеловала Илюшу в лоб.

– Ласточка моя...

Илюша обвинил ее шею руками. Он открыл рот, чтобы ска-

зять, как ее любит, но на подходе к горлу образовалась вязкая пластилиновая масса. Он попытался протолкнуть сквозь нее слово, но оно застряло в этом месиве, как оса в банке густеющей краски. Илюша напряг голосовые связки, лицо его стало багровым. Мама испуганно начала гладить сына по волосам.

– Просто скажи «ма-ма», – прошептала она, – мааа-мааа.

– Ыыыыааааа...

Илюше показалось, что, подобно застывшей зубной пасте на кончике тюбика, слово вот-вот выдавится на язык.

– Ыыыыыааааа, – он покрылся каплями пота от усердия, но паста засохла, треснула и никуда не двигалась.

Софья Михайловна, размазывая по землистому лицу слезы, воздела глаза к больничному потолку:

– Только не это, Господи, только не это!

Илюша молчал около месяца. С ним работали логопеды, ему делали массаж, купали в серных и соляных ваннах. «Нужно изгнать из мальчика стресс, – говорил Софье Михайловне врач-психолог, – пока он не расскажет, что с ним случилось, прогресса не будет».

Психолог дважды в неделю сажал Илюшу в кресло напротив себя и мягко задавал вопросы.

– Илюшенька, Эпоха держала тебя в туалете?

Илюша кивал.

– Она тебя кормила?

Илюша молчал.

– Она предлагала тебе еду?

Илюша кивал.

– Она издевалась над тобой?

Илюша молчал.

– Она тебя о чем-то просила?

Илюша кивал.

– Она дотрагивалась до тебя?

Илюша молчал.

– Она чего-то хотела?

Илюша сжимал зубы и краснел. Результата от сеансов не было.

После того как Эпоху затолкали в милицейскую машину, пошли слухи, что она больше не вернется домой. Медицинская экспертиза подтвердила ее крайнюю неадекватность, и бабушку отвезли в главную городскую психушку. По заверению участкового Витали, ее посадили на самые жесткие транквилизаторы и приковали к кровати. А значит, говорил он, бояться нечего. Квартира Эпохи была заколочена и опломбирована. Но Илюша еще долго опасался выходить на улицу один. В школу его сопровождали то мама, то папа. Учителя Илью не трогали, на уроках не вызывали к доске, лишь проверяли тетради и автоматом ставили оценки в журнал. С занятий до дома он возвращался в компании старшего брата. Шли они обычно в гробовом молчании, Родька ни о чем Илюшу не спрашивал, а тот даже и не пытался вступить в контакт. Как-то дойдя до входной двери квартиры, оба от-

прянули: на коврике перед порогом лежала булочка с изюмом. Такая же, какой пыталась угостить Илью Эпоха.

– Она вернулась, – шепнул Родион на ухо младшему брату.

Илюша заметался, умоляя взглядом Родьку быстрее открыть квартиру. Тот начал рыться в портфеле, вывернул его наизнанку и вывалил содержимое на грязный пол подъезда.

– Блин, ключи потерял. Наверное, в школе оставил. У тебя нет запасных?

Илюша отчаянно замотал головой и схватил брата за руку.

– Да не ссы. Я сейчас сгоняю и вернусь быстро. Подожди тут.

Он побежал вниз по лестнице и хлопнул тяжелой дверью на первом этаже. Илюша со злостью пнул булку ногой, сел на щетинистый коврик и закрыл голову руками.

– Шалушик! – послышался откуда-то сверху хриплый полусшепот. – Ша-лууу-шик, я за тобой пришла!

Илюша затряс головой и указательными пальцами попытался заткнуть уши.

– Я прииии-шлааа, я ряаааа-дом, я зде-ээсь, – звук шагов с верхнего этажа становился громче и отчетливее.

Илюша вскочил и кинулся вниз по лестнице. Он долетел до двери подъезда и толкнул ее плечом. Дверь не открывалась. Шаркающие шаги сверху приближались. Илья натужился что есть силы, но замок был явно заперт снаружи.

– Ша-лууу-шик ни-ку-даа не у-бе-жиитт, Ша-лууу-шик

нав-сег-да со мной!

Илюша вцепился в ручку, покрылся бордовыми пятнами и липкими каплями пота, пластилиновое месиво заполнило его желудок, поднялось выше и стало рвать трахею, он начал задыхаться и терять сознание. Под железный стук и странный звон сверху на него выскочило несколько фигур в дражных балахонах. Какая-то огненная волна торкнула его изнутри, пластилин расплавился, и, харкнув кипящей мокротой, Илюша конвульсивно заорал:

– Па-па-ма-гии-ите-ееее!

Дверь распахнулась, и Илюша вывалился вместе с ней на руки Родиону. Тот подхватил его и, давясь хохотом, закричал:

– Ну вот! Значит, можешь говорить!

Внутри подъезда гоготали Родькины друзья. На них болтались старые мешки из-под картошки, длинными палками они елозили взад-вперед по железным балясинам перил. Илюша, трясясь от ненависти, вцепился Родиону в лицо и начал рвать его обкусанными ногтями. Сзади подлетели «ряженные», повалив Илью на пол. Заваруха продолжалась недолго – в подъезд выскочили соседи и расцепили школяров.

Вечером за ужином семья сидела в полном сборе. Расцарапанный от подбородка до ушей Родион возбужденно рассказывал, как все было.

– Да он из вредности молчал, гадина! Слышали бы вы, как он орал, когда испугался!

– Ты мог бы довести его до сердечного приступа! – горячился отец.

– Да я его вылечил! Пусть спасибо скажет!

– П-передай х-хлеб-ба, п-пожалуйста, – тихо обратился Илюша к маме.

Она обняла его и прижалась губами ко лбу, подняв светлые шелковые волосы.

– Ну да, расцелуйте своего Илюшеньку, – пробубнил Родион с набитым ртом, – меня-то никто не пожалеет, рожу зеленкой не намажет. И так все зарастет, Родька же – не человек, собака!

– Тише, мальчики, – резюмировал отец, – вы, Гринвичи, одной крови и должны держаться вместе.

Братья исподлобья метнули друг в друга раскаленные взгляды и, поджав губы в гримасе отвращения, разошлись по разным углам квартиры. Родион пошел в общую детскую – две параллельные кровати, две тумбочки, две импровизированные парты для занятий – и начал глобальную перестановку. С яростью сбросив все учебники на пол, он перевернул оба стола на ребро и разделил ими пространство комнаты надвое. Металлические ножки столов, торчащие в разные стороны как противотанковые ежи, превратили братскую обитель в место напряженной обороны. Илюша на это время закрылся в уборной. Сидя на унитазе, он рассматривал нехитрую тараканью ловушку: отец ставил банку с сахарной водой, обмазанную по краям подсолнечным маслом, и рыжие

прусаки, влекомые к водопою, тонули, не в силах выбрать-ся по скользкому стеклу. Илюша выловил горсть дохлых на-секомых, вышел из туалета и направился к холодильнику. Мама с вечера готовила ему и Родьке морс в литровых бан-ках: Илье – облепиховый, Родиону – клюквенный. В крас-ную, ароматную жидкость он вытряхнул из ладони таракан-ов, закрыл крышкой и хорошенько взболтал. Тараканы рав-номерно перемешались с раздавленными ягодами клюквы и осели на дно. Выдохнув с облегчением, Илюша направился в комнату спать. Свет уже был выключен, и, споткнувшись о баррикады, он разбил себе лоб и вывихнул мизинец на ноге. Родион, укрывшийся с головой одеялом, противненько захи-хикал. Дождавшись, пока брат заснет, Илюша на цыпочках подошел к кухонной аптечке и на ощупь достал бутылек зе-ленки. Луна к этому времени взошла и нежно осветила ком-нату. Стянув с Родиона одеяло, Илья уперся взглядом в его лицо: рубленые черты даже во сне были невыносимо дерзки-ми и отвратительно привлекательными. Илюша всегда меч-тал о таком квадратном подбородке и разлете черных бро-вей. О таких фигурно очерченных губах и прямом носе. О таких резких скулах и темных гладких волосах. На Родькину морду стоило надеть шлем в школьном спектакле, и он ста-новился русским богатырем, пилотку со звездой – и он пре-ображался в героического солдата, фуражку с кокардой – и он был вылитым офицером. Илюша же во всех этих голов-ных уборах выглядел полным кретином, а к утреннику на 23

Февраля его вообще поставили в массовку к девочкам, повязали на голову платок и заставили махать вслед уходящим на фронт ребятам. Воспоминания об этом вызывали дрожь. Илья глубоко вздохнул, открыл пузырек и тоненькой струйкой стал лить зеленку на лоб и щеки брата. Опустошив тару, он стряхнул несколько последних капель ему на шею и с чувством удовлетворения лег в постель.

Наутро Родион орал на всю квартиру, умолял родителей разрешить не идти в школу, но по математике планировалась контрольная и пропустить ее было невозможно. Когда Лев Леонидович с укоризной посмотрел на Илюшу, тот невозмутимо ответил:

– Ну, Р-родька п-просил н-намазать ему р-рожу з-зеленкой, я и п-помог.

Расплата была жестокой. С подачи Родиона во дворе и школе Илюшу стали звать Любимчиком Эпохи. Его пугали, зажимали по углам, высмеивали.

– Ну что она с тобой делала? Яичками играла? За писюн трогала? И ты аж дар речи потерял? – ржали ему в лицо мальчишки, заставляя Илюшу каменеть от злости.

– С-сдохните, уроды! Н-ничего н-не делала!

Дразнили его вплоть до шестого класса, пока в Эпохину квартиру не заселились новые жильцы, отмыли окна, поставили железную дверь, завели сенбернара, и память о полоумной бабке начала стираться, как запись мелом на школьной доске.

Глава 6. Кладбище

– Располагайся, ты – дома! – заинтриговала Эпоха, втолкнув меня в какое-то неприятное пространство, где я почувствовал себя смятой пушинкой в плотно набитой подушке. Таких пушинок-перьев там была тьма-тьмущая, и все они совершали броуновское движение, насколько я помнил его из учебника физики за 10-й класс. Сама Эпоха исчезла, я заволновался и начал судорожно ее искать.

– Аааа, испугался! – наконец услышал я бабкин голос. – Да расслабься. Просто поймай волну, переведи всех в плоскость видимого, а потом отсей ненужных.

– Ничего не понял, каких ненужных, где мы?

– На Пятницком кладбище, возле Рижской, тебя тут захоронят.

– Это в Москве? – Я тупил.

– Нет, в Сиднее, – съязвила Эпоха. – В Москве, конечно, ты где подох-то, в Австралии, што ль? Вот в могилу к Сане Пятибратову тебя и запихнут. Сань, иди сюда, я вас познакомлю.

– Стой, Эпоха, – занервничал я, – какой Саня, что за бред! Объясни, умоляю!

Я вдруг осознал, как она чувствовала себя при жизни в городе нашего детства. Понял на своей шкуре, как это – не вписываться в общее хаотичное движение живых существ,

которые придумали себе какую-то закономерность, правила, следуют им, понимают друг друга, а тебя, как щепку в эпицентре смерча, болтает по спирали и долбит головой обо все стены. Я прямо ощутил себя иным, дебилом, дураком, утырком. По сравнению со мной на данный момент Эпоха была воплощением самой логики, сознания и мирового порядка.

– Не паникуй, Старшуля. Рассредоточься на атомы, расплывись, включи воображаемый тюнер и крути его до тех пор, пока не увидишь привычные образы людей.

Я растекся вширь как мог, снова вспомнил стереокартинку с динозавром, расфокусировался и начал собирать маленькие детали в большого зверя. В какой-то момент я охренел: вся эта броуновская прозрачная живность превратилась в бесконечную толпу людей, которые не просто соприкасались друг с другом, они были внутри друг друга, над, под, изпод, во множестве проекций, в сотнях измерений. Каждый из них что-то делал, свободно двигался, а вместе они копошились, кишели, бурлили миллиардами рук и ног, миллионами голов... Я заорал, просто «аааа», вновь сжался в один атом или что там у них было единицей измерения бестелесности...

– Че, много их? – гоготнула Эпоха. – А ты думал! Кладбище почти три столетия существует, в разгар чумы создано. Да ты, поди, еще на тыщу лет назад распластался да и полпланеты заграбастал. Ладно, не ссы! Теперь зырь на меня и крути свой тумблер, пока все остальные не пропадут.

Я повиновался и устался на Эпоху. Она собралась до мельчайших морщин, и я попытался сконцентрироваться на малиновом кровоподтеке под ее глазом. Постепенно кишащая толпа стала невидимой, и мы остались с ней тет-а-тет. Я выдохнул и посмотрел вниз. Полное жирными кистями сирени и тяжелыми бело-розовыми соцветиями яблонь, под нами благоухало медом майское кладбище. Толстые шмели, как топ-менеджеры нашей больницы, купались в золотой пыльце, и она сама липла к их мохнатым лапкам, словно городской бюджет к рукам наших директоров.

– Господи, как красиво! – выдохнул я.

– Ага, здесь нарядно, – подтвердила Эпоха. – Это не какое-нибудь Волковское кладбище, где родственники копошатся на могилах, как дачники на картошке под палящим солнцем. Это – центр Москвы! Здесь захоронения давно запрещены.

– А почему же я тут?

– Шалушик подсуетился, – с гордостью сообщила Эпоха. – Сунул кому надо, поднял все связи – и силъ ву пле! Санин убогий крест скоро выкинут, на хер, твою урну затолкают рядом с его гробом и поставят модный памятник. Круто, да?

– Да кто такой Саня?

– Зенки разуй! Тумблер открути маляху назад – Саня уже час рядом с нами сидит.

Я долго возился с настройками собственной газообразной субстанции, снова видел возле себя то орду людей в одежде

всех времен, то одну скалящую зубы Эпоху и наконец взял в фокус еще одного человека, который пялился на меня глазами, полными печали.

– Здравствуйте, доктор! – произнес он. – Вот и встретились с вами снова.

Саня оказался маленьким плешивым чудиком в засаленном костюме. На груди лацканы расходились, обнажая распиленные ребра, из которых вываливалось сердце с огромным неровным шрамом. На протянутой ладони у Сани лежал кусок трехстворчатого клапана с гнойным мешком посередине, напоминавшим грецкий орех.

– Что за черт! – вспыхнул я. – Кто вам сделал такой топорный разрез правого предсердия?

– Вы, доктор, – оскалился Саня и подмигнул Эпохе: – Хирург хренов!

Она захлебнулась противным смехом. Я был уязвлен.

– Чушь собачья! Я помню всех своих пациентов! У вашего врача тряслись руки – это видно по линии рассечения, я таких операций делал с десятков. Ничего сложного. Подключаешь больного к АИК¹, удаляешь вегетацию, эту гнойную хрень, быстренько восстанавливаешь клапан...

– Серьезно? Быстренько? Забыл, что я был первым, на ком ты тренировался сохранить родной клапан вместо того, чтобы поставить искусственный имплант? На работающем сердце. Возился пятнадцать минут, пока я не сдох?

¹ АИК – аппарат искусственного кровообращения.

– О боже!!! – Если бы у меня была кожа, она бы покрывалась арбузоподобными мурашками. – Так это ты? Бомж из Южного Бутова?

– Я не бомж, – с достоинством императора произнес Саня. – Я – потомок московского купца Кудрявцева! И лежу здесь по праву, в могиле своего предка! Это ты, погань безродная, деньгами всю жизнь сорившая, пролез сюда преступно, без суда и следствия!

Я оторопел. Никогда не считал себя безродной поганью, гордился фамилией Гринвичей, хотя и понятия не имел о своих корнях. Пока думал, что ответить, меня выручила Эпоха:

– О, залез на шесток, петух цветастый! – обратилась она к Сане. – И твое родство доказать еще надо, знаешь ведь, как сюда попал.

Саня сразу притих и сделался еще меньше. Искромсанное сердце тоскливо повисло на коронарных артериях. Створку клапана с гнойной вегетацией он сунул в замусоленный карман.

– Не сердись на него, – повернулась ко мне Эпоха. – Саня пусть и не потомок купца, все равно – легендарная личность. Зря ты его угробил. И даже в лицо не запомнил...

– Да я ради Илюшки старался... – огрызнулся я и до краев наполнился таким свинцовым стыдом, какой не испытывал ни разу за всю земную жизнь.

– Ради Шалушика... – протянула Эпоха и обняла Саню, –

он для Шалушика старался. Прости его...

Глава 7. Полтергейст

Саня Пятибратов приходил с работы, садился на стул, линияющий вишневым дерматином, и долго смотрел в темную пустошь квартиры, не трогая выключатель. Единственная коридорная лампочка, казалось, повесилась от безысходности на электропроводке. Саня очень любил шутить: так устаю на работе, что дома вообще не включаю свет. Эту шутку придумал Василь Василич – его начальник. Они были одногодками, но Васька пробился по службе, а Саня так и остался рядовым телевизионным осветителем. Ему бесконечно указывали: включи, выключи, правее по лучу, левее, поменяй фильтр, освети вон тот угол... По молодости Саня этим очень гордился. Осветителей на телевидении было мало. Их уважали, приглашали на важные съемки со знаменитыми персонами: певцами, космонавтами, политиками. Все было значимым, выпуклым, штучным. И Саня был штучным. Мог подмигнуть актрисочке, а она рдела в ответ. То ли от слепящего прибора, то ли от Саниного влюбленного сердца. Ну, ростом маловат, небогат шевелюрой. Зато в модном чешском костюме, купленном мамой в ГУМе по записи, в широком галстуке и с твердым коричневым чемоданом, обитым металлическими уголками. Из этого-то чемодана он, подобно Зевсу-громовержцу (так ему казалось), доставал удивительные вещи – сверкающие треножцы, упря-

таннные в стальные створки четырехугольные лампы, фильтры разных цветов и плотности, ну и после трудового дня, конечно, бутылочку «Столичной». При искусно подобранном освещении она не уступала бриллианту в югославском ювелирном магазине. Был Саня в Югославии, был. Не кто-нибудь. Осветитель на Центральном телевидении.

Жизнь пролетела стремительно. Поменялось все: камеры, свет, звезды, актриски, начальники. Только не Саня. Он остался верен своему чешскому костюму, полинявшему, прогоревшему на обшлагах рукавов, но преданно повторявшему Санины изгибы – покруглее на спине, попримитивнее в коленях. Да и чемодан с неизменным наполнением не покидал Саниных узловатых рук ни на день. Даже в месяцы простоя, когда никто не звал на съемки, он молча и солидарно со своими товарищами по цеху плотно придвигал свой окантованный железом кофр к таким же близнецам-чемоданам, сооружал стол и выставлял на него те самые прозрачные кристаллы, чью чистоту и каратность не переплюнут югославские бриллианты. Хлебнув из залапанного стакана, Санин мир, как и следует, преломлялся в пятидесяти семи алмазных гранях. Всплывала бывшая жена, крупная, ярко накрашенная женщина-библиотекарь, которая давала интервью о важности книги в становлении советского студента. Саня направил на нее свет так страстно, что потом в его жизни появились два худеньких пацана, ежедневные щи из квашеной капусты и бесконечное желание спрятаться за осве-

тительным прибором от вечно кричащих на него и друг на друга детей, мамы и жены. «Будь хозяином! – говорили сотрудники. – Ты же Зевс, испепели их взглядом. Пусть боятся каждого твоего слова!» Но стоило Сане послушаться мужиков, как домашние запирали его в ванной, где он и засыпал прямо в чешском костюме, пробуждаясь только утром, когда жена снимала крупные бигуди и чистила зубы.

Кстати, именно она, начитавшись в своей библиотеке современной периодики, решила развестись с Саней, забрать детей, разменять квартиру Саниной мамы и выселить мужа со свекровью из двушки на Цветном в однушку Южного Бутова. Саня даже вздохнул от облегчения, а вот мама не пережила. В день ее похорон он отодвинул черный махровый халат, что закрывал коридорное зеркало (видимо, профессионально решил найти лучший вариант освещения), и будто впервые посмотрел на себя со стороны. Маленький, несуразный, лысоватый мужичок в замызганном костюме. Сане стало страшно и бесконечно одиноко. Он задернул зеркало и крепко вцепился в ручку своего верного чемодана. На кладбище за сто километров от Москвы – ближе бесплатно не хоронили – Саня приехал с ним же. У мамы осталось мало подруг. Вокруг гроба стояли четверо сухих старушонок и трое Саниных товарищей-осветителей. Красноречием никто не обладал. Поэтому помпезных слов сказано не было. Да и вообще не было никаких слов. Постояли, помолчали и разошлись. В душе Сани открылась такая черная бездна, такая

пробоина навылет, что он дошел до автобуса и упал. Друзья подняли его, посадили на чемодан и прямо из бутылки начали вливать в рот живительную «Столичную». В другое время Саня сразу бы оттаял, подобрел, но с этого момента алкоголь сделался бессильным. Ему дали две недели отдыха с сохранением зарплаты, но оставаться дома было невыносимо. Саня вернулся в Останкино. Чтобы как-то развеять крошечную тоску своей души, он срывал съемки. Ребят из их цеха часто заказывали на короткие выезды для сюжетов в популярных программах. Формально на съемку выделялось четыре часа вместе с дорогой на объект. Никто в это время никогда не укладывался. Добирались по столичным пробкам часа полтора в одну сторону и столько же в другую. На работу оставался час. Творцы свое время не жалели – пахали до результата, задерживались сколько нужно. Но Саня включал внутренний говнометр и тыкал всем в наручные часы:

– Все, съемка окончена! Я поехал!

– Сан Иванович, дорогой, ну нам еще доснять нужно, ну будь человеком, – умоляли его операторы и репортеры.

– Ваше время вышло! – резюмировал Саня, защелкивая свой чемодан.

Его ненавидели. Старались не брать с собой в команду. Но осветителей было мало, и ежедневно по расписанию он портил кому-то жизнь. В тот день выезжали за город. Девочка-корреспондентка Светка Синицына волновалась, все время названивала по мобильному, пытаясь скоординиро-

вать всех участников процесса – съемка была постановочной, на место съезжались человек пятнадцать из разных районов Москвы, в том числе приглашенные артисты. Светка разрывалась, выезд задерживался то по одной, то по другой причине. Она плакала, могучий оператор утешал ее, звуковик пофигистично курил. Наконец съемочная группа тронулась в путь. Саня, самый хлипкий из команды, расселся со своим чемоданчиком рядом с водителем старенького «опеля». Грузный оператор с камерой на коленях, девочка и звуковик затолкались на заднее сиденье. Машина тронулась. Саня щелкнул рычагом, и его сиденье отъехало максимально назад, сплющив колени оператора. Громадный добряк только крикнул:

– Ну, Сан Иванович, хорош борзеть!

Саня его слова проигнорировал. Через 20 минут, когда они встали в мертвую пробку на Третьем кольце, он поднял левую руку вверх, постучал по выцветшим часам «Полет» и гаркнул:

– Время возвращаться в Останкино! Через час кончается смена.

Все молчали. Водитель в зеркале заднего вида вопросительно поднял бровь.

– Едем дальше, – железным голосом сказала корреспондентка.

– Я напишу служебную записку о несоблюдении правил, срыве временных промежутков и профессиональном несо-

ответствии, – зудел Саня.

Все молчали. Водитель и звуковик тоже хотели домой. Оператору было все равно, но он жалел девочку.

– Разворачиваемся обратно, – давил осветитель.

Светка покраснела, выдохнула и сухо скомандовала:

– Включите аварийку и остановите машину!

Водитель пожал плечами и повиновался. Она с треском распахнула заднюю дверь салона, выскочила, обошла автомобиль и рванула на себя ручку Саниной двери.

– Выметывайся! – приказала она.

– Чеее? – Саня остолбенел.

– Вали отсюда, урод, со своим вонючим чемоданом! Без тебя справимся! – Светка пылала щеками и сверкала глазами. – Быстро, я сказала!

– На чем я доберусь обратно? – проблеял осветитель.

– На моем пенделе, гнида! – Хрупкая девочка тряслась от ярости.

– Я никуда не поеду, – пробубнил он.

– Тогда заткни свой хлебальник, козлина! Будешь работать, как все мы, понял? И откати сиденье максимально вперед, говнюк!

Именно так на Саню орала жена. Именно от такого тона у него страхом сводило живот. Он покорно нажал рычаг и выдвинулся вперед.

– Еще вперед, я сказала! – Светку несло.

Он подвинулся еще.

– Максимально вперед, чтобы ты рожей своей уперся в лобовое стекло!

Саня уже чуть ли не носом доставал до приборной панели.

– Вот так! И пикни мне хоть раз! – Девочка вернулась назад под уважительные взгляды мужиков и ткнула в спину водителя:

– Трогай! Маршрут не изменился.

Униженный и оскорбленный Саня затих, бормоча себе под нос проклятия. Съёмка была долгой и хлопотной. Приехали на какую-то нежилую дачу за МКАДом, долго расставляли позиции, сверяли сценарий. Саня говнил как мог. Ставил не те фильтры, отвратительно направлял свет и каждые десять минут кричал:

– Стоп! Всем пора домой!

– Пришлепните кто-нибудь этого хмыря! – злились артисты. – Оператор, да отними у него приборы и выставь сам!

К приборам Саня никого не подпускал. Светка от нервов пошла бурой сыпью. Все ждали съёмки какого-то эпизода в дальней закрытой комнате, ключи от которой были у хозяйки дома – Светкиной подруги, намертво застрявшей в пробке. Темнело, все теряли терпение. Наконец вечерний сумрак прорезал свет фар. Неоново-синий «мерседес» остановился у ворот, и полная красивая женщина в белом брючном костюме с копной черных кудрей вышла из машины.

– Ребята, простите, дорогие, – распевным грудным голосом сказала она, – отдала Светику связку ключей, а главный

– от комнаты – у меня остался! Ну, я вам икры привезла, бутеров, шампусика – сейчас поработаем и расслабимся!

К ней со слезами, как к мамке, бросилась корреспондентка:

– Снеееежкаааа! – рыдала она. – Меня тут все довели-иии!

– Светулечка, родная, я здесь, и все будет хорошо. – Крассавица прижала к высокой груди девочкины тощие плечи.

– Это Снежана, знакомьтесь! – размазывая слезы, сказала Светка.

Издерганная, нервная съемочная группа вместе с актерами застыла в благостном молчании. Саня же просто осел на крыльцо с дебиловатой блаженной улыбкой. Было в Снежане что-то глубоко терапевтическое, уютное, теплое, мудрое, неторопливое. Она вплыла в полузаброшенный дом, открыла злополучную комнату и отправилась на кухню. Светка прижалась к ее уху и прошептала:

– Снеж, дорогая, тут один мудака жизни не дает, обезвредь его как-нибудь. Вон тот шишок в прожженном костюме.

– Иди спокойно работай, все улажу.

Снежана подошла к Сане и бархатным голосом спросила:

– Могу я узнать, как вас зовут?

– Эххх, Сан Иваныч, – крикнул осветитель.

– Александр Иванович, не могли бы вы мне помочь принести пакеты с продуктами из машины в дом? – Снежана будто разучивала музыкальную партию.

– Эххх, конечно, а чо ж нет! – просиял Саня.

Они направились к ослепительному «мерседесу», и Саня с кожаного сиденья достал пакеты с логотипом продуктового бутика.

– Давайте я возьму пару сумок, – сказала Снежана.

– Да чо ж, я сам не дотащу? – распушил хвост Саня.

– Вы такой сильный! – восхитилась красавица.

Саня поплыл. Что-то совершенно чудесное произошло в его организме – бездонная черная дыра будто бы заштопалась золотыми нитками снизу и начала наполняться тысячами пляшущих светлячков.

– А давайте я вас покормлю, пока все работают, – предложила Снежана, когда они зашли в кухню.

– Чо ж, как это? – оторопел Саня.

– Я делаю изумительные бутерброды из яиц и шпротов. И вас научу. Вы же небось с утра на работу бежите голодный?

– Голодный, чо ж, – потупился осветитель.

Она сняла свой белый пиджак, пахнув флердоранжевыми духами, и осталась в черном каркасном бюстье, которое сжимало ее грудь, как пышное безе с кремом – голодный грязный мальчуган. Неспешными движениями красивых пальчиков она расстелила на столе одноразовую скатерть и разложила на ней нарезанный ароматный батон, пачку сливочного масла, пакетик майонеза, вареные яйца и банку шпротов.

– Разминаем в салатнице крутые яички вместе со шпротами, вот так, – Снежана напевала и мяла вилкой яйца с ры-

бой, – можно взять и лосося, если что, чуть солим, а потом... перемешиваем с майонезом, очень тщательно, чтобы была однородная и очень нееежная масса...

Саня следил за ее пухлыми холеными руками, и светлячки в его черной дыре устраивали немислимые оргии.

– А потом наносим эту вкуснятину на белый хлееб, вот так... – Снежана ловко орудовала ножиком, намазывая яичную смесь на ломтики батона, – ииии – ам! – в ротик, – она поднесла бутерброд прямо к Саниному лицу. – Кусайте! Не стесняйтесь.

Не жравший с утра Саня ополоумел от счастья. Остатками зубов он перемалывал не просто еду – небесную манну. Такой вкуснотищи не попадало к нему в рот с момента рождения. Саня мычал и стонал, прикрыв глаза и сжав руки в кулачки. Снежана откупорила бутылку «Хеннесси» и налила коньяка в одноразовый стакан.

– Конечно, бокалов у нас тут нет, но за здоровье можно выпить из чего угодно, правда? – прошептала она. – Я за рулем, для ребят у меня шампанское, а вам – коньячок, согласны?

Саня утвердительно замотал головой, глаза подернулись влагой.

– Тяжело, наверное, работать с молодежью? – участливо спросила Снежана.

– Оооо-чень тяжело, – выдохнул он, опрокинув коньяк, – звери, а не люди! Сожрать с потрохами готовы!

– Как я вас понимаю, – красавица приблизила к нему две невозможно сладких безешины в косточках атласного бюстье. – Вы – патриарх, мэтр телевидения, столько всего видели, стояли у истоков! А всякие ссыкухи и ссыкуны вам указывают!

– Вот, золотые слова! – захмелевший Саня дал волю чувствам. – Я давно не встречал таких женщин, как вы: пахнете вкусно, готовите потрясающе, не орете...

Снежана погладила его мягкой рукой по заскорузлой ладони.

– А знаете, я застал еще те времена, когда свет под героя выставляли по шесть часов! – Саня выкатил грудь.

– Да что вы! – округлила глаза Снежана.

– Дыыааа! Рисующий, заполняющий, контровой, моделирующий, фоновый! Акценты там всякие – на брошь, на картину сзади, все как режиссер задумал. А сейчас – тят-ляп, и готово! Хренак тебе в морду лампу – от носа тень на поллица, лоб блестит, очки бликуют, фон вообще провальный. Разве это свет? Позорище!

– Вы правы, нет души, нет искусства! И ваш труд совсем обесценили! – возмутилась Снежана.

– Не то слово! Они мне тут говорят – отдай нам приборы, а сам пройдишь туда-сюда по комнате, полтергейста сыграешь, у тебя типаж подходящий, – Саня завелся не на шутку. – Полтергейста, представляете??? Ну, я послал всех нах.

– О чем же они сюжет снимают? – поинтересовалась кра-

савица.

– Да хрен их знает, о сносе старых домов вроде. Привидение им понадобилось, барабашка!

– Зря вы так, – пропела Снежана. – Если Светулечка попросила сыграть барабашку, значит, она увидела в вас уникальные способности, особый дар. Она очень талантливая девочка, на режиссерском учится, во ВГИКе. Вот увидите, скоро ее имя на всю страну прогремит!

– Вы думаете? – усомнился Саня.

– Конечно! Сыграйте привидение, ради меня! – Она умоляюще прижала ладошки к сахарной безешной груди.

– Да ради вас я в костер прыгну! – засуетился Саня.

Они вошли в комнату, когда съемка уже закончилась. Звукотик сматывал удлинитель, оператор зачехлял штатив.

– Александр Иванович любезно согласился сыграть полтергейста, – сообщила Снежана голосом концертмейстера.

Все замерли и уставились на сладкую парочку – полуголую Данаю с роскошными кудрями по пояс и плешивого сморчка в несвежем костюме.

– Да мы уже сложились, – сказала Светка. – Без полтергейста обойдемся.

Снежана подняла на нее строгие глаза и посмотрела в упор.

– Ну ладно, Володь, сними по-быстрому с плеча его проходку, – обратилась к оператору корреспондентка.

Тот нехотя взвалил на себя камеру и скомандовал освети-

телю:

– Значит, так, от этого угла пройдешь наискосок к тому углу и выйдешь в дальнюю дверь.

– Чо ж... свет надо выставить, – заупрямился Саня.

– Какой свет, але? – взорвался оператор. – Ты нас тут четыре часа трахал: «Поехали домой!» А сейчас, когда все сняли, свет будешь выставлять?

– Спокойно, ребята, – вступилась Снежана. – Александр Иванович, ведь барабашки в темноте ходят, на свету их не видно!

– Да мы его все равно зарапидим и замикшируем с голой стеной, чтоб прозрачным был, пусть уже идет! – вскипела Светка.

Снежана положила руку Сане на плечо и доверчиво заглянула в глаза.

– Ну ладно, – крикнул осветитель и встал на исходную точку, – непрофессионально все это!

– Внимание! Пошел! – гаркнул оператор.

Саня надул грудь, поднял подбородок и неспешной походкой императора перед строем солдат двинулся по комнате. Актеры прыснули в кулаки, Светка скривилась, обхватив голову руками.

– Сан Иваныч, ну, полтергейсты так не ходят! Будьте проще, будто к ларьку за водкой идете.

Саня взбунтовался:

– А если этот полтергейст важной особой был?

– Нет, по сценарию он был говнюком и алкашом! – Светка закипала.

– Не буду играть! – отрезал Саня.

– Да и пошел к чертям собачьим, задолбал всех сегодня! – сорвалась корреспондентка.

– Ребята, без паники, сейчас все сделаем, – голос Снежаны обволакивал и баюкал. – Санечка, родной, я буду стоять за дверью, а ты пойдешь на меня, так, будто хочешь мне подарить цветы.

– Эт я могу, – осклабился Саня. – Камера готова? – грозно спросил он оператора.

– Да готова, иди уже, влюбленный барабашка!

В более идиотском образе Саню нельзя было и представить: он расстегнул пиджак, сунул руку в карман и вразвало, по-матросски тронулся к вожаемой двери. Актеры заржали в голос, Светка тихо затряслась, сдерживая истерические слезы. Снежана в проеме открытой двери призывно тянула к нему руки. Неподвижным оставался только оператор. Он довел до конца панораму и рухнул на колени.

– Стоп, снято! Светик, убей, я больше этого не вынесу.

– Всем спасибо, все свободны! – подытожила Светка, растягивая тушь по всему лицу. – Этот день я не забуду никогда.

Наконец все собрались на кухне, выпили, закусили Снежаниными бутербродами. Хозяйка посадила Саню рядом с собой и всячески обхаживала. Осветитель млел, смеялся и травил анекдоты, которые никто не слушал.

– Без тебя я бы не справилась, – шепнула Светка на ухо Снежане. – Как ты его обезвредила? Теперь понимаю, почему мужчины из-за тебя дерутся.

– Терпение и умение слушать сломают любого дурака, – пропела мудрая подруга.

Разъезжались за полночь. Снежана всех расцеловала и напоследок подмигнула Сане:

– Ну что, Александр Иванович, когда-нибудь осчастливит меня? Выставите свет, как раньше, правильно, профессионально? Сделаете снимок, где я красивее себя самой?

– Чо ж! – воскликнул помолодевший Саня. – Конечно, хоть завтра!

– Ну, тогда созвонимся! Возьмете телефончик у Светки.

Она села в свой неоновый «мерседес» и растворилась в темноте. Съёмочная группа тоже погрузилась в старенький «опель». Пробки уже рассосались, дорога была свободной. Суматошный день завершился, все были счастливы и благодарны друг к другу. Саня даже не стал отодвигать сиденье назад. Узкое пространство между креслом и приборной панелью, куда загнала его днем Светка, теперь казалось свободным и комфортным. Он чувствовал, будто в горящем безнадежном танке открылся люк и над головой появилось спасительное синее небо. Возвращаться домой было не страшно: Саня знал, что закупит яиц и шпротов, сделает бутерброды и будет счастлив. И что назавтра позвонит Снежане и организует самую лучшую фотосессию в ее жизни. Води-

тель рассказывал что-то смешное, на заднем сиденье гоготали Светка, оператор и звуковик. Возбужденный Саня тоже начал острить и хохотать над своими шутками. Все было феерично, радостно, наполнено смыслом. И никто не понял, почему машина вдруг понеслась не по шоссе, а по обочине. И почему справа от дороги вырос столб. И почему, заскрежетав тормозами, «опель» обнял этот столб, расплескав по асфальту передние фары.

Водитель, отчаянно матерясь, в бешенстве ударил кулаком по рулю и обернулся назад:

– Все живы-здоровы?

– Всееее, – проблеяли испуганные пассажиры.

– Похоже, колесо спустило, твою мать! Теперь меня точно уволят. Выдают колымаги, а они быются на дорогах как склянки.

Все вышли на шоссе, достали сигареты, закурили. Светка обогнула машину и вместе с водителем стала рассматривать место повреждения. Было темно, она включила фонарик на мобильнике и направила его вверх. Сигарета выпала из ее рта. На лобовом стекле внутри салона распластался злосчастный осветитель.

Глава 8. Избранный

В больнице Саня провалялся несколько месяцев. Серьезное сотрясение мозга, три сломанных ребра, отбитые внутренние органы. Как подтвердила экспертиза, он даже не был пристегнут. Поначалу к нему в палату приходили друзья по цеху, начальник Василь Василич и даже пару раз заехала Светка Синицына.

– Ну как там Снежаночка? – с надеждой спросил ее Саня в первый визит. – Знает, что со мной случилось?

– Знает, очень сочувствует, – соврала Светка.

– Почему же не заглянет?

– Да она бросила мужа и укатила с любовником в Америку.

– К-как мужа?! Как с любовником?! – Саня подавился слюной от ужаса. – Разве она не одинокая?

– Сан Иваныч, такие женщины, как Снежка, не бывают одинокими. Вы что, на себе ее чары не почувствовали?

Больше Саня ничего не слышал. В тот момент заштопанная золотыми нитками черная бездна вновь разверзлась, светлячки в ней погасли, люк на горящем танке с грохотом захлопнулся, и дальнейшее прозябание на этой земле сделалось абсолютно бессмысленным. Саня перестал выздоравливать. Его кости не хотели срастаться, печень и селезенка – регенерировать, сердце – правильно гонять кровь. К травмам

присоединилась внутренняя инфекция. Саню перекладывали из одного отделения в другое, из одной больницы в другую, друзья устали его навещать, а потом и вообще потеряли Санин след. Последним его приняло задрипанное хирургическое отделение Южного Бутова.

– Этот не выживет, – сказал на врачебном совете местный кардиолог. – Температура 38–39 держится уже несколько месяцев, эхо-кг сердца показало крупную вегетацию на трехстворчатом клапане – или наркоман в прошлом, или с катетером занесли инфекцию в кровоток. Нужно оперировать, причем в современном центре. Наркоз он не потянет. Да и бабла за него никто не внесет – ни родственников, ни друзей.

Саню оставили умирать в палате на пять человек. Угасал он медленно, видимо, не было мотивации ни к жизни, ни к смерти. Рядом с ним менялись пациенты, кто-то поступал, кто-то выписывался, ходили медсестры, равнодушно приподнимая над его усохшим телом несвежую простыню – помер? нет? Раз в сутки ставили бесполезную капельницу.

И вдруг одним декабрьским утром возле Саниной койки началось странное движение. Два молодых энергичных медбрата (явно не местных) накололи Саню какими-то препаратами, переложили на дорожную каталку, оснащенную всеми мыслимыми приборами, довели до красивого реанимобиля, словно из зарубежных фильмов, и с сиренами-мигалками доставили в крупнейший кардиологический центр столицы. По сияющим голубым коридорам его пригнали в одност-

ную палату, похожую на президентский люкс в Лас-Вегасе, и окружили озабоченными врачами. Один из них, видимо самый главный – редкой породы мужик с выразительными чертами лица, – заговорил с Саней как с главой межгалактической корпорации:

– Александр Иванович, ваше состояние – критическое. Требуется немедленная операция по удалению очага гнойного воспаления из сердца. Поскольку ваш организм крайне ослаблен, почки и печень повреждены, да плюс присоединилась пневмония, вам нужны особые условия: оперировать придется на работающем сердце в условиях гипотермии, то есть охлаждения организма, за очень короткое время...

Обессиленный Саня внимательно слушал и не мог понять, зачем и ради чего Господь Бог прислал за ним помощь. Он прогнал в мозгу все возможные варианты и остановился на самом приятном: это Снежаночка из Америки вспомнила о нем и оплатила операцию в лучшем кардиоцентре Москвы. Значит, он по-прежнему важен, весом, уникален, штучен. Где-то внутри потеплело, повеяло весной, зажелтели одуванчики, и Саня впервые за последние полтора года улыбнулся.

– ...Конечно, вы будете подстрахованы искусственным кровообращением, – продолжал свою речь доктор. – Но мы хотим применить новаторскую технологию, и вместо полной замены клапана на имплант попробовать сохранить ваши собственные створки. Видите ли, искусственный клапан в правых отделах сердца недолговечен, а наша задача – что-

бы вы на много десятилетий вперед были здоровы и счастливы. Увы, таких операций, с учетом сложности вашего случая, в мире делали единицы. Я буду первым кардиохирургом в Москве, а вы – первым столичным пациентом.

Санина улыбка становилась все шире. Ему нравилось, что он в чем-то будет первым. Как Юрий Гагарин, как Жак-Ив Кусто, как Карл Лагерфельд (в чем именно Карл был первым, Саня не помнил). Значит, он не зря родился, не зря носил чешский костюм из ГУМа, не зря освещал массивными ДИ-Гами знаменитых актеров и космонавтов.

– Но гарантий нет никаких, – хирург сжал волевые губы, – вы можете умереть прямо на операционном столе. Хотя... не буду с вами заигрывать – без операции вы также умрете. Через неделю, максимум месяц.

Стоявшая рядом женщина в белом халате, очень умная на вид, добавила:

– Но тот факт, что вас будет оперировать сам Родион Львович Гринвич – мировой светила в области сердечной хирургии, должен придавать вам сил и веры в счастливый исход события.

Сане льстило, что врач с ним обстоятелен и серьезен. Такой умный, достойный человек, учился много лет, ездил по симпозиумам, лечил пациентов, чтобы в один прекрасный момент пригодиться ему, Сане.

– А если я умру, вы сообщите об этом Снежане? – слабо прохрипел он.

– Конечно, – ответила женщина в белом, – мы сообщим всем вашим родным и близким людям.

– Я согласен. – Саня с отбитыми органами, пневмонией, температурой и какой-то хренью в сердце вновь был счастлив.

На следующее утро, ни свет ни заря, его начали готовить к операции. Весь персонал был крайне вежлив и обходителен. Все подбадривали, желали успеха и скорейшего выздоровления. И лишь в последний момент прыщавый интерн в хирургической шапочке с собачками, меняющий какие-то трубки в венах, по-свойски подмигнул Сане:

– Ну что, подопытный кролик, продвинем науку вперед? Спасем брата?

– Что значит науку? Какого брата? – Саня, чуя подвох, сжался от предательского холодка в животе.

– Умиряющего брата нашего светила, – улыбнулся интерн.

– Пошел вон отсюда, – грубо осек его красивый кардиохирург, и Саня, не успев ничего осознать, провалился в предсмертный наркотический сон.

Часть 2

Глава 9. Рыжуля

Лопухи в Федотовке были рослыми и мясистыми. В отличие от коров в местном колхозе, где работала доярка Нюра Корзинкина. В шесть утра, когда она дергала за сосцы тряпочное вымя бело-рыжей Бруснички, в коровник с воплем вбежала соседка Анна Степанна.

– В лопухах младенца нашли, кровавого, мокрого! Небось Зинка твоя выкинула!

Нюра вскочила, опрокинула пустое ведро и начала судорожно вытирать руки о грязный фартук.

– Чего остолбенела, бежим! Помрет!

Они рванули к вонючей мелкой речке. В зарослях лопухов виднелась голова мужа Анны Степанной – Андрея. Он сидел на корточках и рассматривал что-то живое и скулящее под ногами. Когда подбежали женщины, Андрей встал и отошел в сторону.

– Ну и гадость вы, бабы, рожаете, – он достал из военных штанов самокрутку и закурил.

Нюра с Анной Степанной склонились над младенцем, лежащим на гигантском листе сорванного лопуха: это была девочка, крошечная, синюшная, с рваной веревкой пуповины,

исходящей из тощего живота. Она тихо поскуливала, словно побитая псина.

– Пушай умрет, вон синяя уже, – сказала Нюра, – да ведь, Степанна?

– Господь тебя проклянет! – ответила соседка. – И дочь твою, и род твой.

– Уже проклял, – вздохнула Нюра. – Меня в пятнадцать родили, я в пятнадцать родила, и моя дуреха в четырнадцать забрюхатела. Ни одного мужика в роду, все несчастны, все наказаны. И эта будет такая же. Пушай сейчас помирает, пока не хлебнула горя.

На этих словах мокрый комок скорчился, свернулся калачиком, открыл огромный сорочий рот и заорал что есть мочи. Утреннюю тишину речки-вонючки разорвало в клочья, словно истлевшую наволочку.

– Ох ты господи, живая, Нюр! Силищи-то сколько, сама не помрет. – Анна Степановна наклонилась над младенцем. – Да что мы, звери, что ли?

Она сняла накинутый на плечи белый платок в крупных красных цветах и протянула Корзинкиной.

– На, приданое внучке твоей! Пеленай, да пошли искать Зинку, пока она кровью не истекла.

Нюра тяжело вздохнула, подняла с земли ребенка, завернула в платок, прижала к груди и горько заплакала. Ни один день из двадцати девяти прожитых ею лет не приносил счастья. А сегодня и вовсе хотелось пойти и утопиться вместе

с этой козявкой, которую с отвращением срыгнуло лоно ее непутевой дочери.

Зинку застали в сарае. Она зарылась в сено и рыдала. Мятая холщовая юбка была еще в свежей крови.

– Че орешь? – строго спросила ее Степанна. – Послед вышел?

– Чево? – всхлипывая, подняла голову Зинка.

– Кусок мяса из тебя вышел, когда ты пуповину перегрызла?

– Выыыышееееел, – выла Зинка.

– Ну тогда принимай ребенка и корми! – крикнула на нее соседка.

– Я его выкинулааааа, убилаааа, мне мамка сказалааа, чтобы я с дитем домой не приходилааа, – рыдала юная роженица.

– Да вот твоя мамка и дочь твоя вот, хватит орать! Титьку доставай, молоко-то есть?

Почерневшая Нюра передала Зинке живой сверток в цветастом платке.

– Мамичкааа, я не хотела, мамичкаааа! Прости меняаааа! Ты же знаешь, мааа, как я не хотелааааа, – Зинка билась в истерике.

– Ладно, чево уж, – мать села перед ней на колени, – Степанна верно говорит, прокляты мы.

Обалдевшая Зинка приняла в руки дочь и неуверенно достала надувшуюся грудь. Маленькая козявка распахнула рот

и хищно вцепилась в розовый сосок.

– Ааааа! Боооольно! – У Зинки из глаз снова хлынули слезы.

– Больно ей! – проворчала Нюра. – Это не больно! Настоящая боль будет впереди...

* * *

В колхозе «Знамя Ильича» был хороший председатель. Петр Петрович руководил хозяйством более тридцати лет со времен, когда оно еще называлось сельхозартелью. Президентовал в Федотовке Гражданскую и Великую Отечественную, выполняя план по поставке говядины и молока солдатам на фронт. Плотный мужик лет шестидесяти, с кустистыми бровями, без двух пальцев на левой руке и без одного на правой (потерял на лесопилке), знал Нюру Корзинкину с самого рождения – января 1925 года. Ее мать считалась малолетней шалавой, родила Нюрку не пойми от кого и умерла от чахотки, когда дочери было пятнадцать. Председатель выделил им хлипкий дом на окраине Федотовки и два дополнительных литра молока в неделю. Нюрка росла худой, робкой, но, как и юная мать, обладала золотыми волнистыми волосами и ярко-рыжими кошачьими глазами в пшеничных густых ресницах. Больше – ничего. Веснушки на носу, ободранные коленки, заусенцы на пальцах. Но оранжевых глаз хватило, чтобы ее в четырнадцать лет изнасиловал сын Петра Петровича

– Петька (с именами в этой семье не экспериментировали). Нюра была настолько тощей, что живот стал виден на третьем месяце. Вся деревня знала, кто отец, и жужжала негодованием. Обрюхатил – пусть женится. Петьке уже было восемнадцать. Но на общем собрании председатель, размахивая клешнеподобными руками и присвистывая подобно раку на горе, объявил семью Корзинкиных непотребными, срамными девками, позорящими артель и деревню. Все поохали и смирились. Нюра растила новоиспеченную Зинку одна. В старом доме, с дополнительными двумя литрами молока в неделю. Зинка выросла полной копией мамы, а значит, и бабки – тоненькая, светло-золотистая дурочка с солнечным светом в глазах. Сходство было таким поразительным, будто рождались эти девочки от непорочного зачатия, без участия мужчин, а значит, и посторонних генов, которые могли бы хоть чуточку поменять их лица. Только Зинке исполнилось четырнадцать, как внук Петра Петровича – Петька (ну а зачем менять традиции) завалил ее в колхозном амбаре, и через девять месяцев – к жаркому августу 1954 года она была уже на сносях. Нюра билась в истерике, кричала на беременную Зинку, грозила выгнать из дома, обзывала, но в душе понимала, что дочь не могла ничего поделать. Все председательские Петьки росли парубками с невероятной силой, и отбиться от них хрупким, затравленным девчонкам было невозможно. Нюру мучили догадки, что ее бабушку в свое время насиловал сам председатель – слишком уж ловко его

семья отбрыкивалась от череды златокудрых девочек и при этом слишком близко к себе их держала. В жены Петьки брали как на подбор крупных гладко-гнедых кобыл, рожавших им все новых и новых Петек. Конца и краю этому не было, и обе Корзинкины – Нюра и Зинка – решили: новорожденную девочку во что бы то ни стало избавить от злой участи. Для начала малышку назвали Златой.

– Хватит уже деревенских имен. Как вырастет – отправим в город учиться, – сказала двадцатидевятилетняя баба Нюра.

Злата была зеркальным отражением Зины, а значит, Нюры, а значит, ее матери, бабки и прабабки. Глазки ее поначалу были серо-голубыми, и Зинка обрадовалась:

– Может, не будет на нас похожа?

– Ну конечно! – усмехнулась Нюра. – Подожди еще.

И вправду, сначала на серых радужках стали появляться рыжие лучики, потом они образовали между собой солнечную паутину и наконец засветились оранжевыми подсолнухами. Волосы закудрявились золотыми бликами, появились веснушки, заусенцы, ободранные коленки. И все же Златка отличилась от всей женской цепочки – она была счастливой. Абсолютно, безусловно, независимо от времени года, от еды на столе, от сказанных в ее адрес слов. Она улыбалась, ластилась к мамкиной и бабкиной юбкам, не огрызалась, не капризничала, ничего не требовала. Видимо, была признательна, что ее не оставили умирать на берегу. Однажды летом вся троица на закате возвращалась из коровника домой. Утопаю-

щее в лопухастой речке-вонючке солнце напоследок бросило лимонное покрывало на деревенскую дорогу, и три золотые женщины – Нюра, Зинка и Златка – держась за руки, плыли по нему босиком, поднимая прозрачную пыль. Навстречу шел Петр Петрович со своим правнуком Петькой. Они поравнялись, председатель заулыбался, присел на корточки и протянул малышке леденец изуродованной клешней.

– Как же ты светишься, Златулечка, словно петушок на палочке! – Он расплылся всеми своими морщинами, выражая умиление.

Правнук Петька тоже осклабился. Во рту у него неровным забором в два ряда теснились зубы: еще не выпавшие молочные и новые, с острыми зазубринами, как у акулы. Бабка с матерью инстинктивно закрыли юбками пятилетнюю Златку.

– Не тронешь! – захрипела Нюра, сверкая рыжими глазами. – Клыками глотку разорву! Каждому из твоих ошметков перегрызу шею! Умру, но напьюсь вашей крови!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.